

Пушкин. Англия и Ирландия



Пушкин.  
Англия и Ирландия

*К 200-летию со дня рождения  
Александра Сергеевича Пушкина*

**Пушкин.  
Англия и Ирландия**

Издательство “Рудомино”  
Москва, 1999

Всероссийская государственная библиотека  
иностранной литературы имени М.И. Рудомино

Составитель Ю.Г. Фридштейн  
Редактор В.Т. Данченко

*Издание осуществлено при поддержке  
Британского Совета в России*

## Кольна (Подражание Оссиану)

(Фингал послал Тоскара воздвигнуть на берегах источника Кроны памятник победы, одержанной им некогда на сем месте. Между тем, как он занимался сим трудом, Карул, соседственный государь, пригласил его к пиршеству; Тоскар влюбился в дочь его Кольну; нечаянный случай открыл взаимные их чувства и осчастливил Тоскара).

Источник быстрый Каломоны,  
Бегущий к дальним берегам,  
Я зрю, твои взмущенны волны  
Протоком мутным по скалам  
При блеске звезд ночных сверкают  
Сквозь дремлющий, пустынный лес,  
Шумят и корни орошают  
Сплетенных в темный кров древес.  
Твой мшистый брег любила Кольна,  
Когда по небу тень лилась;  
Ты зрел, когда, в любви невольна,  
Здесь другу Кольна отдалась.

В чертогах Сельмы царь могучих  
Тоскару юному вещал:  
«Гряди во мрак лесов дремучих,  
Где Крона катит черный вал,  
Шумящей прохлажден осиною. –  
Там ряд является могил;  
Там с верной, храброю дружиной  
Полки врагов я расточил,  
И много, много сильных пало;  
Их гробы черный вран стрежет.  
Гряди – и там, где их не стало,  
Воздвигни памятник побед!»  
Он рек, и в путь безвестный, дальный  
Пустился с бардами Тоскар,  
Идет во мгле ночи печальной,  
В вечерний хлад, в полдневный жар. –  
Денница красная выводит  
Златое утро в небеса,  
И вот уже Тоскар подходит  
К местам, где в темные леса  
Бежит седой источник Кроны  
И кроется в долины сонны. –  
Воспели барды гимн святой;  
Тоскар обломок гор кремнистых

Усильно мощною рукой  
 Влечет из бездны волн серебристых,  
 И с шумом на высокий брег  
 В густой и дикий злак поверг;  
 На нем повесил черны латы,  
 Покрытый кровью предков меч,  
 И круглый щит, и шлем пернатый  
 И обратил он к камню речь:

«Вещай, сын шумного потока,  
 О храбрых поздним временам!  
 Да в страшный час, как ночь глубока  
 В тумане ляжет по лесам,  
 Пришлец, дорогой утомленный,  
 Возлегли под надежный кров,  
 Воспомнит веки отдаленны  
 В мечтаньи сладком легких снов!  
 С рассветом алья денницы,  
 Лучами солнца пробужден,  
 Он узрит мрачные гробницы...  
 И, грозным видом поражен,  
 Вопросит сын иноплеменный:  
 «Кто памятник воздвиг надменный?»  
 И старец, летами согбен,  
 Речет: «Госкар наш незабвенный,  
 Герой умчавшихся времен!»

Небес сокрылся вечный житель.  
 Заря потухла в небесах;  
 Луна в воздушную обитель  
 Спешит на темных облаках;  
 Уж ночь на холме – берег Кроны  
 С окрестной рощею заснул:  
 Владыка сильный Каломоны,  
 Иноплеменных друг, Карул  
 Призвал Морвенского героя  
 В жилище Кольны молодой  
 Вкусить приятности покоя  
 И пить из чаши круговой.

Близь пепелища все воссели;  
 Веселья барды песнь воспели;  
 И в пене кубок золотой  
 Кругом несется чередой. –  
 Печален лишь пришелец Лоры,  
 Главу ко груди преклонил;  
 Задумчиво он страстны взоры  
 На нежну Кольну устремил –  
 И тяжко грудь его вздыхает,  
 В очах веселья блеск потух,

То огонь по членам пробегает,  
 То негою томится дух;  
 Тоскует, втайне ощущая  
 Волненье сильное в крови,  
 На юны прелести взирая,  
 Он полную чашу пьет любви.

Но вот уж дуб престал дымиться,  
 И тень мрачнее становится,  
 Чернеет тусклый небосклон,  
 И царствует в чертогах сон.

Редает ночь – заря багряна  
 Лучами солнца возжена;  
 Пред ней златится твердь румяна:  
 Тоскар покинул ложе сна;  
 Быстротекущей Каломоны  
 Идет по влажным берегам,  
 Спешит узреть долины Кроны  
 И внемлет плещущим волнам.  
 И вдруг из сени темной роши,  
 Как в час весенней полунощи  
 Из облак месяц золотой,  
 Выходит ратник молодой.  
 Меч острый на бедре сияет,  
 Копье десницу воужает;  
 Надвинут на чело шелом,  
 И гибкий стан покрыт щитом;  
 Зарею латы серебруются  
 Сквозь утренний в долине пар.

«О юный ратник! – рек Тоскар, –  
 С каким врагом тебе сражаться?  
 Ужель и в сей стране война  
 Багрят ручьев струисты волны?  
 Но все спокойно – тишина  
 Окрест жилища нежной Кольны».  
 «Спокойны дебри Каломоны,  
 Цветет отчизны край златой;  
 Но Кольна там не обитает,  
 И ныне по стезе глухой  
 Пустыню с милым протекает,  
 Пленившим сердце красотой».  
 «Что рек ты мне, молодой воитель?  
 Куда сокрылся похититель?  
 Подай мне щит твой!» – И Тоскар  
 Приемлет щит, пылая мщеньем.  
 Но вдруг исчез геройства жар;  
 Что зрит он с сладким восхищеньем?  
 Не в силах в страсти воздохнуть,

Пылая вдруг восторгом новым...  
 Лилейна обнажилась грудь,  
 Под грозным дышуща покровом...  
 «Ты ль это?..» – возопил герой,  
 И трепетно рукой дрожащей  
 С главы снимает шлем блестящий –  
 И Кольну видит пред собой.<sup>1</sup>  
 1814

### Осгар

По камням гробовым, в туманах полуночи,  
 Ступая трепетно усталою ногой,  
 По Лоре путник шел, напрасно томны очи  
 Ночлега мирного искали в тьме густой.  
 Пещеры нет пред ним, на берегу угрюмом  
 Не видит хижины, наследья рыбаля;  
 Вдали дремучий бор качают ветры с шумом,  
 Луна за тучами, и в море спит заря.

Идет, и на скале, обросшей влажным мохом,  
 Зрит барда старого – веселье прошлых лет:  
 Склонясь седым челом над воющим потоком,  
 В безмолвии времен он созерцал полет.  
 Зубчатый меч висел на ветви мрачной ивы.  
 Задумчивый певец взор тихий обратил  
 На сына чуждых стран, и путник боязливый  
 Содрогся в ужасе и мимо поспешил.

«Стой, путник! стой! – вещал певец веков минувших: –  
 Здесь пали храбрые, почти их бранный прах!  
 Почти геройства чад, могилы сном уснувших!»  
 Пришлец главой поник – и, мнилось, на холмах  
 Восставший ряд теней главы окровавленны  
 С улыбкой гордою на странника склонял.  
 «Чей гроб я вижу там?» – вещал иноплеменный  
 И барду посохом на берег указал.

Колчан и шлем стальной, к утесу пригвожденный,  
 Бросали тусклый луч, луною озлатясь.  
 «Увы! здесь пал Осгар! – рек старец вдохновенный. –  
 О! рано юноше настал последний час!  
 Но он искал его: я зрел, как в ратном строе  
 Он первья стрелы с весельем ожидал  
 И рвался из рядов, и пал в кипящем бое:  
 Покойся, юноша! ты в брани славной пал.

Во цвете нежных лет любил Осгар Мальвину,  
 Не раз он в радости с подругою встречал  
 Вечерний свет луны, скользкий на долину,  
 И тень, упавшую с приморских грозных скал.

Казалось, их сердца друг к другу пламенели;  
 Одной, одной Осгар Мальвиною дышал;  
 Но быстро дни любви и счастья пролетели,  
 И вечер горести для юноши настал.

Однажды, в темну ночь зимы порой унылой,  
 Осгар стучится в дверь красавицы младой  
 И шепчет: «Юный друг! не медли, здесь твой милый!»  
 Но тихо в хижине. Вновь робкою рукой  
 Стучит и слушает: лишь ветры с свистом веют.  
 «Ужели спишь теперь, Мальвина? – мгла вокруг,  
 Валится снег, власы в тумане леденеют.  
 Услышь, услышь меня, Мальвина, милый друг!»

Он в третий раз стучит, со скрышом дверь шатнулась.  
 Он входит с трепетом. Несчастный! что ж узрел?  
 Темнеет взор его, Мальвина содрогнулась,  
 Он зрит – в объятиях изменницы Звигнел!  
 И ярость дикая во взорах закипела;  
 Немсет и дрожит любовник молодой.  
 Он грозный меч извлек, и нет уже Звигнела,  
 И бледный дух его сокрылся в тьме ночной!

Мальвина обняла несчастного колена,  
 Но взоры отвратив: «Живи! – вепчал Осгар, –  
 Живи, уж я не твой, презренна мной измена,  
 Забуду, потушу к неверной страсти жар».  
 И тихо за порог выходит он в молчанье,  
 Окован мрачною, безмолвною тоской –  
 Исчезло сладкое навек очарованье!  
 Он в мире одинок, уж нет души родной.

Я видел юношу: поникнув головою,  
 Мальвины имя он в отчаянье шептал;  
 Как сумрак, дремлющий над бездною морскою,  
 На сердце горестном унынья мрак лежал.  
 На друга детских лет взглянул он торопливо;  
 Уже недвижимый взор друзей не узнавал;  
 От пиршеств удален, в пустыне молчаливой  
 Он одиночеством печаль свою питал.

И длинный год провел Осгар среди мучений.  
 Вдруг грянул трубный глас! Оденов сын, Фингал,  
 Вел грозных на мечи, в кровавый пыл сражений.  
 Осгар послышал весть и бранью воспыал.  
 Здесь меч его сверкнул, и смерть пред ним бежала;  
 Покрытый ранами, здесь пал на груди тел.  
 Он пал – еще рука меча кругом искала,  
 И крепкий сон веков на сильного слетел.



Побегли вспять враги – и тихий мир герою!  
 И тихо все вокруг могильного холма!  
 Лишь в осень хладную, безмесячной порою,  
 Когда вершины гор тягчит сырая тьма,  
 В багровом облаке, одеянна туманом,  
 Над камнем гробовым уныла тень сидит,  
 И стрелы дребезжат, стучит броня с колчаном,  
 И клен, зашевелив, таинственно шумит.<sup>2</sup>  
 1814

### К сестре

Ты хочешь, друг бесценный,  
 Что б я, поэт молодой,  
 Беседовал с тобой  
 И с лирою забвенной,  
 Мечтами окриленный,  
 Оставил монастырь  
 И край уединенный,  
 Где непрерывный мир  
 Во мраке опустился  
 И в пустыни глухой  
 Безмолвно воцарился  
 С угрюмой тишиной.

. . .  
 И быстрою стрелой  
 На невской брег примчуся.  
 С подругой обнимуся  
 Весны моей златой,  
 И, как певец Людмилы  
 Мечты невольник милый,  
 Взошел под отчий кров,  
 Несу тебе не злато  
 (Чернец я небогатый),  
*В подарок пук стихов.*

Тайком взошел в диванну,  
 Хоть помощью пера,  
 О, как тебя застану,  
 Любезная сестра?  
 Чем сердце занимаешь  
 Вечернею порой?  
 Жан-Жака ли читаешь,  
 Жанлиса ль пред тобой?  
 Иль с резвым Гамильтоном  
 Смеешься всей душой?  
 Иль с Греем и Томсоном<sup>3</sup>  
 Ты пренеслась мечтой  
 В поля, где от дубравы  
 В дол вест ветерок,

И шепчет лес кудрявый,  
 И мчится величавый  
 С вершины гор поток?  
 Иль моську престарелу,  
 В подушках поседу,  
 Окутав в длинну шаль  
 И с нежностью лелея,  
 Ты к ней зовешь Морфея?  
 Иль смотришь в темну даль  
 Задумчивой Светланой  
 Над шумною Невой?  
 Иль звучным фортепьяно  
 Под беглою рукой  
 Моцарта оживляешь?  
 Иль тоны повторяешь  
 Пиччини и Рамо?  
 <...>  
 1814

### Принцу Оранскому

Довольно битвы мчался гром,  
 Тупился меч окровавленный,  
 И смерть погибельным крылом  
 Шумела грозно над вселенной!

Свершилось... взорами царей  
 Европы твердый мир основан;  
 Оковы свергнувший злодей  
 Могущей бранью снова скован.

Узрел он в пламени Москву –  
 И был низвержен ужас мира,  
 Покрыла падшего главу  
 Благословенного порфира.

И мглой повлекся окружен;  
 Притек, и с буйной вдруг изменой  
 Уж воздвигал свой шаткий трон...  
 И пал отторжен от вселенной.

Утихло все. – Не мчится гром,  
 Не блещет меч окровавленный,  
 И брань погибельным крылом  
 Не мчится грозно над вселенной.

Хвала, о юноша герой!  
 С героем дивным Альбиона<sup>4</sup>  
 Он верных вел в последний бой  
 И мстил за лилии Бурбона.

Пред ним мятежных гром гремел,  
 Текли во след щиты кровавы;  
 Грозой он в бранной мгле летел  
 И разливал блистанье славы.

Его текла младая кровь,  
 На нем сияет язва чести:  
 Венчай, венчай его, любовь!  
 Достойный был он воин мести.  
 1816

Когда сожмешь ты снова руку,  
 Которая тебе дарит  
 На скучный путь и на разлуку  
 Святую библию харит?  
 Амур нашел ее в Цитере,  
 В архиве шалости младой.  
 По ней молись своей Венере  
 Благочестивою душой.  
 Прости, эпикуреец мой!  
 Останься век, каков ты ныне,  
 Лети во мрачный Альбион!  
 Да сохранят тебя в чужбине  
 Христос и верный Купидон!  
 Неси в чужой предел пената,  
 Но, помня прежни дни свои,  
 Люби невественного брата,  
 Страдальца чувственной любви!<sup>5</sup>  
 1818

### [Записка к Жуковскому]

Штабс-капитану, Гёте, Грею,  
 Томсону, Шиллеру привет!<sup>6</sup>  
 Им поклониться честь имею,  
 Но сердцем истинно жалею,  
 Что никогда их дома нет.  
 1817–1820

Погасло дневное светило;  
 На море синее вечерний пал туман.  
 Шуми, шуми, послушное ветрило,  
 Волнуйся подо мной, угрюмый океан.  
 Я вижу берег отдаленный,  
 Земли полуденной волшебные края;  
 С волненьем и тоской туда стремлюся я,

Воспоми́на́ем упо́енный...  
 И чувствую: в очах родились слезы вновь;  
 Душа кипит и замирает;  
 Мечта знакомая вокруг меня летает;  
 Я вспомнил прежних лет безумную любовь,  
 И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,  
 Желаний и надежд томительный обман...  
 Шуми, шуми, послушное ветрило,  
 Волнуйся подо мной, угрюмый океан.  
 Лети, корабль, неси меня к пределам дальным  
 По грозной прихоти обманчивых морей,  
 Но только не к брегам печальным  
 Туманной родины моей,  
 Страны, где пламенем страстей  
 Впервые чувства разгорались,  
 Где музы нежные мне тайно улыбались,  
 Где рано в бурях отцвела  
 Моя потерянная младость,  
 Где легкокрылая мне изменила радость  
 И сердце хладное страданью предала.  
 Искатель новых впечатлений,  
 Я вас бежал, отечески края;  
 Я вас бежал, питомцы наслаждений,  
 Минутной младости минутные друзья;  
 И вы, наперсницы порочных заблуждений,  
 Которым без любви я жертвовал собой,  
 Покоем, славою, свободой и душой,  
 И вы забыты мной, изменницы молодые,  
 Подруги тайные моей весны златья,  
 И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,  
 Глубоких ран любви, ничто не излечило...  
 Шуми, шуми, послушное ветрило,  
 Волнуйся подо мной, угрюмый океан...<sup>7</sup>  
 1820

### [Из Байрона]

Нет ветра – синяя волна  
 На прах Афин катится;  
 .  
 .  
 Высокая могила зрится.<sup>8</sup>  
 1821

### Гречанке

Ты рождена воспламенять  
 Воображение поэтов,  
 Его тревожить и пленять  
 Любезной живостью приветов,

Восточной странностью речей,  
 Блистаньем зеркальных очей  
 И этой ножкою нескромной...  
 Ты рождена для неги томной,  
 Для упоения страстей.  
 Скажи – когда певец Леилы  
 В мечтах небесных рисовал  
 Свой неизменный идеал,  
 Уж не тебя ль изображал  
 Поэт мучительный и милый?  
 Быть может, в дальней стороне,  
 Под небом Греции священной,  
 Тебя страдалец вдохновенный  
 Узнал иль видел, как во сне,  
 И скрылся образ незабвенный  
 В его сердечной глубине?  
 Быть может, лирою счастливой  
 Тебя волшебник искушал;  
 Невольный трепет возникал  
 В твоей груди самолюбивой,  
 И ты, склоняясь к его плечу...  
 Нет, нет, мой друг, мечты ревнивой  
 Питать я шая не хочу;  
 Мне долго счастье чуждо было,  
 Мне ново наслаждаться им,  
 И, тайной грустию томим,  
 Боюсь: неверно всё, что мило.<sup>9</sup>  
 1822

### Послание цензору

Угрюмый сторож муз, гонитель давний мой,  
 Сегодня рассуждать задумал я с тобой,  
 Не бойся: не хочу, прельщенный мыслью ложной,  
 Цензуру поносить худой неосторожной;  
 Что нужно Лондону, то рано для Москвы.<sup>10</sup>  
 <...>  
 1822

### Иностранке

На языке тебе невнятном  
 Стихи прощальные пишу,  
 Но в заблуждении приятном  
 Вниманья твоего прошу:  
 Мой друг, доколе не увяну,  
 В разлуке чувство погубя,  
 Боготворить не перестану  
 Тебя, мой друг, одну тебя.

На чуждые черты взирая,  
 Верь только сердцу моему,  
 Как прежде верила ему,  
 Его страстей не понимая.<sup>11</sup>  
 1822

## Евгений Онегин

### Глава первая

#### IV

<...>  
 Вот мой Онегин на свободе;  
 Острижен по последней моде;  
 Как *dandy*<sup>(1)</sup><sup>12</sup> лондонский одет –  
 И наконец увидел свет.  
 <...>

#### VII

Высокой страсти не имея  
 Для звуков жизни не щадить,  
 Не мог он ямба от хорея,  
 Как мы ни бились, отличить.  
 Бранил Гомера, Феокрита;  
 Зато читал Адама Смита,<sup>13</sup>  
 И был глубокий эконом,  
 То есть, умел судить о том,  
 Как государство богатеет,  
 И чем живет, и почему  
 Не нужно золота ему,  
 Когда *простой продукт* имеет.  
 Отец понять его не мог  
 И земли отдавал в залог.

#### XXIII

Изобразу ль в картине верной  
 Уединенный кабинет,  
 Где мод воспитанник примерный  
 Одет, раздет и вновь одет?  
 Всё, чем для прихоти обильной  
 Торгует Лондон щепетильный  
 И по Балтийским волнам  
 За лес и сало возит нам,  
 Всё, что в Париже вкус голодный,  
 Полезный промысел избрав,  
 Изобретает для забав,  
 Для роскоши, для неги модной, –  
 Всё украшало кабинет  
 Философа в осмнадцать лет.

## XXXVIII

Недуг, которого причину  
 Давно бы отыскать пора,  
 Подобный английскому *сплину*  
 Короче: русская *хандра*  
 Им овладела понемногу;  
 Он застрелиться, слава Богу,  
 Попробовать не захотел;  
 Но к жизни вовсе охладел.  
 Как *Child-Harold*<sup>14</sup> угрюмый, томный  
 В гостиных появлялся он;  
 Ни сплетни света, ни бостон,  
 Ни милый взгляд, ни вздох нескромный,  
 Ничто не трогало его,  
 Не замечал он ничего.

## XLII

Причудницы большого света!  
 Всех прежде вас оставил он;  
 И правда то, что в наши лета  
 Довольно скучен высший тон;  
 Хоть, может быть, иная дама  
 Толкует Сея и Бентама,  
 Но вообще их разговор  
 Несносный, хоть невинный вздор;  
 К тому ж они так непорочны,  
 Так величавы, так умны,  
 Так благочестия полны,  
 Так осмотрительны, так точны,  
 Так неприступны для мужчин,  
 Что вид их уж рождает *сплин*<sup>(2)</sup>.

## XLIX

Адриатические волны,  
 О Брента! нет, увижу вас,  
 И, вдохновенья снова полный,  
 Услышу ваш волшебный глас!  
 Он свят для внуков Аполлона;  
 По гордой лире Альбиона<sup>15</sup>  
 Он мне знаком, он мне родной.  
 <...>

## LVI

<...>  
 Всегда я рад заметить разность  
 Между Онегиным и мной,  
 Чтобы насмешливый читатель  
 Или какой-нибудь издатель  
 Замысловатой клеветы,  
 Сличая здесь мои черты,  
 Не повторял потом безбожно,

Что намарал я свой портрет,  
 Как Байрон, гордости поэт,  
 Как будто нам уж невозможно  
 Писать поэмы о другом,  
 Как только о себе самом.

## Глава вторая

### XXV

Итак она звалась Татьяной.  
 Ни красотой сестры своей,  
 Ни свежестью ее румяной  
 Не привлекла б она очей.  
 Дика, печальна, молчалива,  
 Как лань лесная боязлива,  
 Она в семье своей родной  
 Казалась девочкой чужой.  
 Она ласкаться не умела  
 К отцу, ни к матери своей;  
 Дитя сама, в толпе детей  
 Играть и прыгать не хотела,  
 И часто целый день одна  
 Сидела молча у окна.

### XXIX

Ей рано нравились романы;  
 Они ей заменяли всё;  
 Она влюблялася в обманы  
 И Ричардсона<sup>16</sup> и Руссо.  
 Отец ее был добрый мальць,  
 В прошедшем веке запоздалый;  
 Но в книгах не видал вреда;  
 Он, не читая никогда,  
 Их почитал пустой игрушкой,  
 И не заботился о том,  
 Какой у дочки тайный том  
 Дремал до утра под подушкой.  
 Жена ж его была сама  
 От Ричардсона без ума.

### XXX

Она любила Ричардсона  
 Не потому, чтобы прочла,  
 Не потому, чтоб Грандисона  
 Она Ловласу предпочла<sup>(3)</sup>.  
 Но встарину княжна Алина,  
 Ее московская кузина,  
 Твердила часто ей об них.  
 В то время был еще жених  
 Ее супруг, но по неволе;



Она вздыхала по другом,  
 Который сердцем и умом  
 Ей нравился гораздо боле:  
 Сей Грандисон был славный франт,  
 Игрок и гвардии сержант.

## XXXVI

И так они старели оба.  
 И отворились наконец  
 Перед супругом двери гроба,  
 И новый он приял венц.  
 Он умер в час перед обедом,  
 Оплаканый своим соседом,  
 Детьми и верною женой  
 Чистосердечней чем иной.  
 Он был простой и добрый барин,  
 И там, где прах его лежит,  
 Надгробный памятник гласит:  
*Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,  
 Господний раб и бригадир,  
 Под камнем сим вкушает мир.*

## XXXVII

Своим пенатам возвращенный,  
 Владимир Ленский посетил  
 Соседа памятник смиренный,  
 И вздох он пеплу посвятил;  
 И долго сердцу грустно было.  
 «*Poor Yorick!*<sup>(4)</sup> – молвил он уныло, –  
 Он на руках меня держал.  
 Как часто в детстве я играл  
 Его Очаковской медалью!  
 Он Ольгу прочил за меня,  
 Он говорил: дождусь ли дня?..»  
 И полный искренней печалью,  
 Владимир тут же начертал  
 Ему надгробный мадригал.

## Глава третья

## IX

Теперь с каким она вниманьем  
 Читает сладостный роман,  
 С каким живым очарованьем  
 Пьет обольстительный обман!  
 Счастливой силою мечтанья  
 Одушевленные созданья,  
 Любовник Юлии Вольмар,  
 Малек-Адель и де Линар,  
 И Вертер, мученик мятежный,

И бесподобный Грандисон,  
 Который нам наводит сон, –  
 Все для мечтательницы нежной  
 В единый образ облеклись,  
 В одном Онегине слились.

## X

Воображаясь героиней  
 Своих возлюбленных творцов,  
 Кларисой, Юлией, Дельфиной,  
 Татьяна в тишине лесов  
 Одна с опасной книгой бродит,  
 Она в ней ищет и находит  
 Свой тайный жар, свои мечты,  
 Плоды сердечной полноты,  
 Вдыхает и, себе присвоя  
 Чужой восторг, чужую грусть,  
 В забвенье шепчет наизусть  
 Письмо для милого героя...  
 Но наш герой, кто б ни был он,  
 Уж верно был не Грандисон.

## XI

Свой слог на важный лад настроя,  
 Бывало, пламенный творец  
 Являл нам своего героя  
 Как совершенства образец.  
 Он одарял предмет любимый,  
 Всегда несправедно гонимый,  
 Душой чувствительной, умом  
 И привлекательным лицом.  
 Питая жар чистейшей страсти,  
 Всегда восторженный герой  
 Готов был жертвовать собой,  
 И при конце последней части  
 Всегда наказан был порок,  
 Добру достойный был венок.

## XII

А нынче все умы в тумане,  
 Мораль на нас наводит сон,  
 Порок лобезен и в романе,  
 И там уж торжествует он.  
 Британской музыки небылицы  
 Тревожат сон отроковицы,  
 И стал теперь ее кумир  
 Или задумчивый Вампир,  
 Или Мельмот, бродяга мрачный,  
 Иль вечный жид, или Корсар,  
 Или таинственный Сбогар<sup>(5)</sup>17.  
 Лорд Байрон прихотью удачной

Облек в унылый романтизм  
И безнадежный эгоизм.

#### Глава четвертая

##### VII

Чем меньше женщину мы любим,  
Тем легче нравимся мы ей  
И тем ее вернее губим  
Средь обольстительных сетей.  
Разврат, бывало, хладнокровный  
Наукой славился любовной,  
Сам о себе везде трубя  
И наслаждаясь не любя.  
Но эта важная забава  
Достойна старых обезьян  
Хваленых дедовских времен:  
Ловцасов обветшала слава  
Со славой красных каблуков  
И величавых париков.

##### XXXVI. XXXVII

А что ж Онегин? Кстати, братья!  
Терпенья вашего прошу:  
Его вседневные занятия  
Я вам подробно опишу.  
Онегин жил анахоретом;  
В седьмом часу вставал он летом  
И отправлялся налегке  
К бегущей под горой реке;  
Певцу Гюльнары<sup>18</sup> подражая,  
Сей Геллеспонт перешпывал,  
Потом свой кофе выпивал,  
Плохой журнал перебирая,  
И одевался...

##### XLIII

В глуши что делать в эту пору?  
Гулять? Деревня той порой  
Невольнo докучает взору  
Однообразной наготой.  
Скакать верхом в степи суровой?  
Но конь, притушенной подковой  
Неверный зацепляя лед,  
Того и жди, что упадет.  
Сиди под кровлею пустынной,  
Читай: вот Прадт, вот W. Scott.  
Не хочешь? – поверяй расход,  
Сердись иль пей, и вечер длинный

Кой-как пройдет, а завтра то ж,  
И славно зиму проведешь.

## XLIV

Прямым Онегин Чильд Гарольдом  
Вдался в задумчивую лень:  
Со сна садится в ванну со льдом,  
И после, дома целый день,  
Один, в расчеты погруженный,  
Тупым кием вооруженный,  
Он на бильярде в два шара  
Играет с самого утра.  
<...>

## Глава седьмая

## XIX

Татьяна взором умиленным  
Вокруг себя на все глядит,  
И всё ей кажется бесценным,  
Всё душу томную живит  
Полумучительной отрадой:  
И стол с померкшею лампадой,  
И груда книг, и под окном  
Кровать, покрытая ковром,  
И вид в окно сквозь сумрак лунный,  
И этот бледный полусвет,  
И лорда Байрона портрет,  
И столбик с куклою чугунной  
Под шляпой с пасмурным челом,  
С руками, сжатыми крестом.

## XX

Татьяна долго в келье модной  
Как очарована стоит.  
Но поздно. Ветер встал холодный.  
Темно в долине. Роща спит  
Над отуманенной рекою;  
Луна сокрылась за горою.  
И пилигримке молодой  
Пора, давно пора домой.  
И Таня, скрыв свое волнение,  
Не без того, чтоб не вздохнуть,  
Пускается в обратный путь.  
Но прежде просит позволения  
Пустынный замок навещать,  
Чтоб книжки здесь одной читать.

## XXI

Татьяна с ключницей простилась  
 За воротами. Через день  
 Уж утром рано вновь явилась  
 Она в оставленную сень.  
 И в молчаливом кабинете,  
 Забыв на время всё на свете  
 Осталась наконец одна,  
 И долго плакала она.  
 Потом за книги принялася.  
 Сперва ей было не до них,  
 Но показался выбор их  
 Ей странен. Чтению предалася  
 Татьяна жадною душой;  
 И ей открылся мир иной.

## XXII

Хотя мы знаем, что Евгений  
 Издавна чтение разлюбил,  
 Однако ж несколько творений  
 Он из опалы исключил:  
 Певца Гюра и Жуана  
 Да с ним еще два-три романа,  
 В которых отразился век  
 И современный человек  
 Изображен довольно верно  
 С его безнравственной душой,  
 Себялюбивой и сухой,  
 Мечтанью преданной безмерно,  
 С его озлобленным умом,  
 Кипящим в действии пустом.

## XXIII

Хранили многие страницы  
 Отметку резкую ногтей;  
 Глаза внимательной девицы  
 Устремлены на них живей.  
 Татьяна видит с трепетаньем,  
 Какою мыслью, замечаньем  
 Бывал Онегин поражен,  
 В чем молча соглашался он.  
 На их полях она встречает  
 Черты его карандаша.  
 Везде Онегина душа  
 Себя невольно выражает  
 То кратким словом, то крестом,  
 То вопросительным крючком.

## XXIV

И начинает понемногу  
 Моя Татьяна понимать

Теперь яснее – слава Богу –  
 Того, по ком она вздыхать  
 Осуждена судьбою властной:  
 Чудак печальный и опасный,  
 Созданье ада иль небес,  
 Сей ангел, сей надменный бес,  
 Что ж он? Ужели подражанье,  
 Ничтожный призрак, иль еще  
 Москвич в Гарольдовом плаще,<sup>19</sup>  
 Чужих причуд истолкованье,  
 Слов модных полный лексикон?..  
 Уж не пародия ли он?

## XXV

Ужель загадку разрешила?  
 Ужели *слово* найдено?  
 <...>

## XXXIX. XL

<...>  
 <...>К старой тетке,  
 Четвертый год больной в чахотке,  
 Они приехали теперь.  
 Им настезь отворяет дверь,  
 В очках, в изорванном кафтане,  
 С чулком в руке, седой калмык.  
 Встречает их в гостиной крик  
 Княжны, простертой на диване.  
 Старушки с плачем обнялись,  
 И восклицанья полились.

## XLI

– Княжна, mon ange! – «Pachette»! –  
 Алина! –  
 «Кто б мог подумать? Как давно!  
 Надолго ль? Милая! Кузина!  
 Садись – как это мудрено!  
 Ей богу, сцена из романа...»  
 – А это дочь моя, Татьяна. –  
 «Ах, Таня! подойди ко мне –  
 Как будто брежу я во сне...  
 Кузина, помнишь Грандисона?»  
 – Как, Грандисон?.. а, Грандисон!  
 Да, помню, помню. Где же он? –  
 «В Москве, живет у Симеона;  
 Меня в сочельник навестил;  
 Недавно сына он женил...»

## Глава восьмая

Fare thee well, and if for ever  
 Still for ever fare thee well.  
 Byron<sup>20</sup>

## VII

&lt;...&gt;

...это кто в толпе избранной  
 Стоит безмолвный и туманный?  
 Для всех он кажется чужим.  
 Мелькают лица перед ним  
 Как ряд докучных привидений.  
 Что, сплин иль страждущая спесь  
 В его лице? Зачем он здесь?  
 Кто он таков? Ужель Евгений?  
 Ужели он?.. Так, точно он.  
 – Давно ли к нам он занесен?

## VIII

Всё тот же ль он иль усмирился?  
 Иль корчит также чудака?  
 Скажите, чем он возвратился?  
 Что нам представит он пока?  
 Чем ныне явится? Мельмотом,  
 Космополитом, патриотом,  
 Гарольдом, квакером, ханжой,  
 Иль маской щегольнет иной,  
 Иль просто будет добрый мальч,ь,  
 Как вы да я, как целый свет?  
 По крайней мере мой совет:  
 Отстать от моды обветшалою.  
 Довольно он морочил свет...  
 – Знаком он вам? – И да и нет.

## XV

&lt;...&gt;

Никто б не мог ее прекрасной  
 Назвать; но с головы до ног  
 Никто бы в ней найти не мог  
 Того, что модой самовластной  
 В высоком лондонском кругу  
 Зовется *vulgar*<sup>21</sup> (Не могу...

## XVI

Люблю я очень это слово,  
 Но не могу перевести;  
 Оно у нас покаместь ново,  
 И вряд ли быть ему в чести.  
 Оно б годилось в эпиграмме...)  
 <...>

## XXVI

Тут был Проласов, заслуживший  
 Известность низостью души,  
 Во всех альбомах притупивший,  
 St. Priest, твои карандаши;  
 В дверях другой диктатор бальный  
 Стоял картинкою журнальной,  
 Румян как вербный херувим,  
 Затянут, нем и недвижим,  
 И путешественник залетный,<sup>22</sup>  
 Перекрахмаленный нахал,  
 В гостях улыбку возбуждал  
 Своей осанкою заботной,  
 И молча обмененный взор  
 Ему был общий приговор.

## L

<...>  
 Промчалось много, много дней  
 С тех пор, как юная Татьяна  
 И с ней Онегин в смутном сне  
 Явились впервые мне –  
 И даль свободного романа  
 Я сквозь магический кристалл  
 Еще не ясно различал.

## LI

Но те, которым в дружной встрече  
 Я строфы первые читал...  
 Иных уж нет, а те далече,  
 Как Сади некогда сказал.<sup>23</sup>  
 Без них Онегин дорисован.  
 А та, с которой образован  
 Татьяны милый Идеал.  
 О много, много Рок отъял!  
 Блажен, кто праздник Жизни рано  
 Оставил, не допив до дна  
 Бокала полного вина,  
 Кто не дочел Ее романа  
 И вдруг умел расстаться с ним,  
 Как я с Онегиным моим.

*Конец*

[Из примечаний А.С. Пушкина]

(1) Dandy, франт.

(2) Черта охлажденного чувства, достойная Чальд-Гарольда. <...>

(3) Грандисон и Ловлас, герои двух славных романов.

(4) «Бедный Йорик!» – восклицание Гамлета над черепом шута. (См. Шекспира и Стерна).<sup>24</sup>

(5) Вампир – повесть, неправильно приписанная лорду Байрону. Мельмот – гениальное произведение Матюрина. Jean Sboag – известный роман Карла Нодье.



## [Из ранних редакций]

### Глава 1

[Первая глава была издана в 1825 г. с предисловием:]

Вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено.

Несколько песен, или глав Евгения Онегина уже готовы. Писанные под влиянием благоприятных обстоятельств, они носят на себе отпечаток веселости, ознаменовавшей первые произведения автора Руслана и Людмилы.

Первая глава представляет нечто целое. Она в себе заключает описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года и напоминает Беппо, шуточное произведение мрачного Байрона.

Дальновидные критики заметят конечно недостаток плана. Всякий волен судить о плане целого романа, прочитав первую главу оного. Станут осуждать и антипоэтический характер главного лица, сбивающегося на Кавказского Пленника, также некоторые строфы, писанные в утомительном роде новейших элегий, в коих *чувство уныния поглотило все прочие*. Но да будет нам позволено обратить внимание читателей на достоинства, редкие в сатирическом писателе: отсутствие оскорбительной личности и наблюдение строгой благопристойности в шуточном описании нравов.

[В рукописи – вместо последней фразы предисловия:]

Звание издателя не позволяет нам хвалить, ни осуждать сего нового произведения. Мнения наши могут показаться пристрастными. Но да будет нам позволено обратить внимание почтеннейшей публики и журналистов на достоинство, еще новое в сатирическом писателе: наблюдение строгой благопристойности в шуточном описании нравов. Ювенал, Петрон, Вольтер и Байрон – далеко не редко не сохранили должного уважения к читателям и к прекрасному полу. Говорят, что наши дамы начинают читать по-русски. Смело предлагаем им произведение, где найдут они под легким покрывалом сатирической веселости наблюдения верные и занимательные.

Другое достоинство, почти столь же важное, приносящее не малую честь сердечному незлобию нашего автора, есть совершенное отсутствие оскорбительной личности. Ибо не должно сие приписать единственно отеческой бдительности нашей цензуры, блюстительницы нравов, государственного спокойствия, сколь и заботливо охраняющей граждан от нападения *простодушной клеветы*, насмешливо-го легкомыслия.

### Глава III

[Строфа V. После нее в черновой рукописи следовали стихи, предполагавшие иное развитие действия:]

В постеле лежа, наш Евгений  
Глазами Байрона читал,  
Но дань вечерних размышлений  
В уме Татьяне посвящал.  
Проснулся он денницы ране  
И мысль была всё о Татьяне.  
Вот новое подумал он –  
Неужто я в нее влюблен?

<...>

## Глава VIII

[После строфы XXVI – в рукописи:]

Смотрите: в залу Нина входит,  
 Остановилась у дверей  
 И взгляд рассеянный обводит  
 Кругом внимательных гостей;  
 В волненьи перси, плечи блещут,  
 Горит в алмазах голова,  
 Вкруг стана выются и трепещут  
 Прозрачной сетью кружева,  
 И шелк узорной паутиной  
 Сквозит на розовых ногах;  
 Один Онегин  
 Пред сей волшебною картиной:  
 Одной Татьяной поражен,  
 Одну Татьяну видит он.

[Эту строфу Пушкин позднее предполагал заменить следующей:]

И в зале яркой и богатой  
 Когда в умолкший, тесный круг,  
 Подобна лилии крылатой  
 Колеблясь, входит Лалла-Рук,<sup>25</sup>  
 И над поникшею толпою  
 Сияет царственной главою,  
 И тихо вьется и скользит  
 Звезда-харита меж харит,  
 И взор смещенных поколений  
 Стремится, ревностью горя,  
 То на нее, то на царя, –  
 Для них без глаз один Евгений;  
 Одной Татьяной поражен,  
 Одну Татьяну видит он.

## Путешествие Онегина

## V

Наскуча или слыгть Мельмотом  
 Иль маской щеголять иной,  
 Проснулся раз он патриотом  
 Дожливой, скучною порой.  
 Россия, господа, мгновенно  
 Ему понравилась отменно,  
 И решено. Уж он влюблен,  
 Уж Русью только бредит он,  
 Уж он Европу ненавидит  
 С ее политикой сухой,  
 С ее развратной суетой.  
 Онегин едет; он увидит  
 Святую Русь: ее поля,  
 Пустыни, грады и моря.  
 1823–1831

Полу-милорд, полу-купец,  
 Полу-мудрец, полу-невежда,  
 Полу-подлец, но есть надежда,  
 Что будет полным наконец.<sup>26</sup>  
 1824

## Разговор книгопродавца с поэтом

### Книгопродавец

Стишки для вас одна забава,  
 Немножко стоит вам присесть,  
 Уж разгласить успела слава  
 Везде приятнейшую весть:  
 Поэма, говорят, готова,  
 Плод новый умственных затей.  
 Итак, решите; жду я слова:  
 Назначьте сами цену ей.  
 Стишки любимца муз и граций  
 Мы вмиг рублями заменим  
 И в пук наличных ассигнаций  
 Листочки ваши обратим...  
 О чем вздохнули так глубоко?  
 Нельзя ль узнать?

### Поэт

Я был далеко:  
 Я время то воспоминал,  
 Когда, надеждами богатый,  
 Поэт беспечный, я писал  
 Из вдохновенья, не из платы.  
 Я видел вновь приюты скал  
 И темный кров уединенья,  
 Где я на пир воображенья,  
 Бывало, музу призывал.  
 Там слаще голос мой звучал;  
 Там доле яркие виденья,  
 С неизъяснимою красой,  
 Вились, летали надо мной  
 В часы ночного вдохновенья!...  
 Всё волновало нежный ум:  
 Цветущий луг, луны блистанье,  
 В часовне ветхой бури шум,  
 Старушки чудное преданье.  
 Какой-то демон обладал  
 Моими играми, досугом;

За мной повсюду он летал,  
 Мне звуки дивные шептал.  
 И тяжким, пламенным недугом  
 Была полна моя глава;  
 В ней грезы чудные рождались;  
 В размеры стройные стекались  
 Мои послушные слова  
 И звонкой рифмой замыкались.  
 В гармонии соперник мой  
 Был шум лесов, иль вихорь буйный,  
 Иль иволги напев живой,  
 Иль ночью моря гул глухой,  
 Иль шопот речки тихоструйной.  
 Тогда, в безмолвии трудов,  
 Делиться не был я готов  
 С толпою пламенным восторгом,  
 И музы сладостных даров  
 Не унижал постыдным торгом;  
 Я был хранитель их скупой;  
 Так точно, в гордости немой,  
 От взоров черни лицемерной  
 Дары любовницы младой  
 Хранит любовник суеверный.

#### Книгопродавец

Но слава заменила вам  
 Мечтанья тайного отрады:  
 Вы разошлись по рукам,  
 Меж тем как пыльные громады  
 Лежалой прозы и стихов  
 Напрасно ждуг себе чтецов  
 И ветреной ее награды.

#### Поэт

Блажен, кто про себя таил  
 Души высокие созданья  
 И от людей, как от могил,  
 Не ждал за чувство воздаянья!  
 Блажен, кто молча был поэт  
 И, терном славы не увитьей,  
 Презренной чернию забытый,  
 Без имени покинул свет!  
 Обманчивей и снов надежды,  
 Что слава? шопот ли чтеца?  
 Гоненье ль низкого невежды?  
 Иль восхищение глупца?

### Книгопродавец

Лорд Байрон был того же мненья;  
 Жуковский то же говорил;  
 Но свет узнал и раскупил  
 Их сладкозвучные творенья.  
 И впрям, завиден ваш удел:  
 Поэт казнит, поэт венчает;  
 Злодеев громом вечных стрел  
 В потомстве дальном поражает;  
 Героев утешает он;  
 С Коринной на киферской трон  
 Свою любовницу возносит.  
 Хвала для вас докучный звон;  
 Но сердце женщин славы просит:  
 Для них пишите; их ушам  
 Приятна лесь Анакреона;  
 В младые лета розы нам  
 Дороже лавров Геликона.

### Поэт

Самолюбивые мечты,  
 Утехи юности безумной!  
 И я, средь бури жизни шумной,  
 Искал вниманья красоты.  
 Глаза прелестные читали  
 Меня с улыбкою любви;  
 Уста волшебные шептали  
 Мне звуки сладкие мои...  
 Но полно! в жертву им свободы  
 Мечтатель уж не принесет;  
 Пускай их юноша поет,  
 Любезный баловень природы.  
 Что мне до них? Теперь в глуши  
 Безмолвно жизнь моя несется;  
 Стон лиры верной не коснется  
 Их легкой, ветреной души;  
 Не чисто в них воображенье:  
 Не понимает нас оно,  
 И, признак Бога, вдохновенье  
 Для них и чуждо и смешно.  
 Когда на память мне неволью  
 Придет внушенный ими стих,  
 Я так и вспыхну, сердцу больно:  
 Мне стыдно идолов моих.  
 К чему, несчастный, я стремился?  
 Пред кем унизил гордый ум?  
 Кого восторгом чистых дум  
 Боготворить не устыдился?.....

### Книгопродавец

Люблю ваш гнев. Таков поэт!  
 Причины ваших огорчений  
 Мне знать нельзя; но исключений  
 Для милых дам ужели нет?  
 Ужели ни одна не стоит  
 Ни вдохновенья, ни страстей,  
 И ваших песен не присвоит  
 Всесильной красоте своей?  
 Молчите вы?

### Поэт

Зачем поэту  
 Тревожить сердца тяжкий сон?  
 Бесплодно память мучит он.  
 И что ж? какое дело свету?  
 Я всем чужой! . . . душа моя  
 Хранит ли образ незабвенный?  
 Любви блаженство знал ли я?  
 Тоскою ль долгой изнуренный,  
 Таил я слезы в тишине?  
 Где та была, которой очи,  
 Как небо, улыбались мне?  
 Вся жизнь, одна ли, две ли: ночи?...

И что ж? Докучный стон любви,  
 Слова покажутся мои  
 Безумца диким лепетаньем.  
 Там сердце их поймет одно,  
 И то с печальным содроганьем:  
 Судьбою так уж решено.  
 Ах, мысль о той души завялой  
 Могла бы юность оживить  
 И сны поэзии бывалой  
 Толпою снова возмутить!...  
 Она одна бы разумела  
 Стихи неясные мои;  
 Одна бы в сердце пламенела  
 Лампадой чистою любви!  
 Увы, напрасные желанья!  
 Она отвергла заклинанья,  
 Мольбы, тоску души моей:  
 Земных восторгов излишья,  
 Как божеству, не нужно ей!...

### Книгопродавец

Итак, любовью утомленный,  
 Наскуча лепетом молвы,

Заране отказались вы  
 От вашей лиры вдохновенной.  
 Теперь, оставя шумный свет,  
 И Муз, и ветреную моду,  
 Что ж избереге вы?

Поэт

Свободу.

Книгопродавец

Прекрасно. Вот же вам совет;  
 Внемлите истине полезной:  
 Наш век – торгаш; в сей век железный  
 Без денег и свободы нет.  
 Что слава? – Яркая заплата  
 На ветхом рубище певца.  
 Нам нужно злата, злата, злата!  
 Копите злато до конца!  
 Предвижу ваше возраженье;  
 Но вас я знаю, господя:  
 Вам ваше дорого творенье,  
 Пока на пламени труда  
 Кипит, бурлит воображенье;  
 Оно застынет, и тогда  
 Постыло вам и сочиненье.  
 Позвольте просто вам сказать:  
 Не продается вдохновенье,  
 Но можно рукопись продать.  
 Что ж медлить? уж ко мне заходят  
 Нетерпеливые чтецы;  
 Вкруг лавки журналисты бродят,  
 За ними тощие певцы:  
 Кто просит пищи для сатиры,  
 Кто для души, кто для пера;  
 И признаюсь – от вашей лиры  
 Предвижу много я добра.

Поэт

Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся.  
 1824

К морю

Прощай, свободная стихия!  
 В последний раз передо мной  
 Ты катишь волны голубые  
 И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,  
Как зов его в прощальный час,  
Твой грустный шум, твой шум призывный  
Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!  
Как часто по брегам твоим  
Бродил я тихий и туманный,  
Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,  
Глухие звуки, бездны глас  
И тишину в вечерний час,  
И своенравные порывы!

Смиранный парус рыбарей,  
Твоею прихотью хранимый,  
Скользит отважно средь зыбей:  
Но ты взыграл, неодолимый,  
И стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставить  
Мне скучный, неподвижный брег,  
Тебя восторгами поздравить  
И по хребтам твоим направить  
Мой поэтической побег!

Ты ждал, ты звал... я был окован;  
Вотще рвалась душа моя:  
Могучей страстью очарован,  
У берегов остался я...

О чем жалеть? Куда бы ныне  
Я путь беспечный устремил?  
Один предмет в твоей пустыне  
Мою бы душу поразил.

Одна скала, гробница славы...  
Там погружались в хладный сон  
Воспоминанья величавы:  
Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.  
И вслед за ним, как бури шум,  
Другой от нас умчался гений,  
Другой властитель наших дум.<sup>27</sup>

Исчез, оплаканный свободой,  
Оставляя миру свой венец.  
Шуми, взволнуйся непогодой:  
Он был, о море, твой певец.



Твой образ был на нем означен,  
Он духом создан был твоим:  
Как ты, могущ, глубок и мрачен,  
Как ты, ничем неукротим.

Мир опустел... Теперь куда же  
Меня б ты вынес, океан?  
Судьба людей повсюду та же:  
Где благо, там уже на страже  
Иль просвещенье, иль тиран.

Прощай же, море! Не забуду  
Твоей торжественной красоты  
И долго, долго слышать буду  
Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы  
Перенесу, тобою полн,  
Твои скалы, твои заливы,  
И блеск, и тень, и говор волн.  
1824

Как узник, Байроном воспетый,  
Вздыхнул, оставя мрак тюрьмы  
1824

### [Воображаемый разговор с Александром I]

Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему: «Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи». Пушкин поклонился бы мне с некоторым скромным замешательством – а я бы продолжал: «Я читал вашу Оду *Свобода*. Она вся писана немного сбивчиво, слегка обдуманно, но тут есть три строфы очень хорошие. Поступив очень неблагоразумно, вы однако ж не старались очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы. Вы можете иметь мнения неосновательные, но вижу, что вы уважили правду и личную честь даже в царе». – Ах, ваше величество, зачем упоминать об этой детской оде? Лучше бы вы прочли хоть 3 и 6 песнь «Руслана и Людмилы», ежели не всю поэму, или I часть «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан». «Онегин» печатается, буду иметь честь отправить 2 экземпляра в библиотеку вашего величества к Ив. Андр. Крылову, и если ваше величество найдете время... «Помилуйте, Александр Сергеевич. Наше царское правило: дела не делай, от дела не бегай. Скажите, как это вы могли ужиться с Инзовым, а не ужились с графом Воронцовым?» – Ваше величество, генерал Инзов добрый и почтенный старик, он русский в душе, он не предпочитает первого английского шалопа<sup>28</sup> всем известным и неизвестным своим соотечественникам. Он уже не волочится, ему не 18 лет от роду: страсти, если и были в нем, то уж давно погасли. Он доверяет благородству чувств, потому что сам имеет чувства благородные, не боится насмешек, потому что выше их, и никогда не подвергнется заслуженной колкости, потому что он со всеми вежлив, не опрометчив, не верит *вражеским пасквилям*. Ваше величество, вспом-

ните, что всякое слово вольное, всякое сочинение противузаконное приписывают мне так, как всякие остроумные вымыслы князю Цицианову. От дурных стихов не отказываюсь, надеясь на добрую славу своего имени, а от хороших, признаюсь, и силы нет отказываться. Слабость непозволительная. «Но вы же и афей? вот что уж никуда не годится». – Ваше величество, как можно судить человека по письму, писанному товарищу, можно ли школьническую шутку взвешивать как преступление, а две пустые фразы судить как бы всенародную проповедь?<sup>29</sup> Я всегда почитал и почитаю вас как лучшего из европейских нынешних властителей (увидим, однако, что будет из Карла X), но ваш последний поступок со мною – и смело в том ссылаюсь на собственное ваше сердце – противоречит вашим правилам и просвещенному образу мыслей. – «Признайтесь, вы всегда надеялись на мое великодушие?...» – Это не было бы оскорбительно вашему величеству, но вы видите, что я бы ошибся в моих расчетах?

Но тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму, *Ермак* или *Кочум* разными размерами с рифмами.

[1824]

### Дневник 1824 г.

19/7 avril mort de Byron.

#### Ода

Его сият. гр. Дм. Ив. Хвостову

Султан ярится.<sup>(1)</sup> Кровь Эллады  
И резво скачет<sup>(2)</sup>, и кипит.  
Открылись грекам древни клады<sup>(3)</sup>,  
Трепещет в Стиксе люгый Пит<sup>(4)</sup>.  
И се – летит продерзко судно  
И мечет громы обоюдно.  
Се Бейрон, Феба образец.  
Притек, но недуг быстропарный<sup>(5)</sup>,  
Строптивый и неблагодарный  
Взнес смерти на него резец.

Певец бессмертный и маститый,  
Тебя Эллада днесь зовет  
На место тени знаменитой,  
Пред коей Цербер днесь ревет.  
Как здесь, ты будешь там сенатор,  
Как здесь, почтенный литератор,  
Но новый лавр тебя ждет там,  
Где от крови земля промокла:  
Перикла лавр, лавр Фемистокла;  
Лети туда, Хвостов наш! сам.

Вам с Бейроном шипела злоба,  
Гремела и правдива лесть.  
Он лорд – граф ты! Поэты оба!  
Се, мнится, явно сходство есть. –  
Никак! Ты с верною супругой<sup>(6)</sup>  
Под бременем судьбы упругой  
Живешь в любви – и наконец  
Глубок он, но единообразен,  
А ты глубок, игрив и разен,  
И в шалостях ты впрям певец.

А я, неведомый пиита,  
В восторге новом воспою  
Во след пиита знаменита  
Правдиву похвалу свою,  
Моляся кораблю бегущу,  
Да Бейрона он узрит кущу<sup>(7)</sup>,  
И да блюдут твой мирный сон<sup>(8)</sup>  
Нептун, Плутон, Зевс, Цитерея,  
Гебея, Псиша, Крон, Астрей,  
Феб, Игры, Смехи, Вахх, Харон.

#### Примечания

- (1) Подражание г. Петрову, знаменитому нашему лирику.  
 (2) Слово, употребленное весьма счастливо Вильгельмом Карловичем Кюхельбекером в стихотворном его письме к г. Грибоедову.  
 (3) Под словом *клады* должно разуметь правдивую ненависть нынешних Леонидов, Ахиллесов и Мильтиадов к жестоким чалмоносцам.  
 (4) Г. Питт, знаменитый английский министр и известный противник свободы.  
 (5) Горячка.  
 (6) Графиня А.И. Хвостова, урожденная княжна Горчакова, достойная супруга маститого нашего певца. Во многочисленных своих стихотворениях везде называет он ее Темирою (см. последн. замеч. к оде: «Заздравный кубок»)  
 (7) Подражание его высокопр. действ. тайн. сов. Ив. Ив. Дмитриеву, знаменитому другу гр. Хвостова:

К тебе я руки простирал  
Уже из отческия кущи,  
Взирая на суда бегущи.

- (8) Здесь поэт, увлекаясь воображением, видит уже великого нашего лирика, погруженного в сладкий сон и приближающегося к берегам благословенной Эллады. Нептун усмиряет пред ним предерзкие волны; Плутон исходит из преисподней бездны, дабы узреть того, кто ниспослет ему в непродолжительном времени богатую жатву теней поклонников Лже-пророка; Зевес улыбается ему с небес; Цитерея (Венера) осыпает цветами своего любимого певца; Геба подымет кубок за здоровье его; Псиша, в образе Иполита Богдановича, ему завидует; Крон удерживает косу, готовую разить; Астрей предчувствует возврат своего царствования; Феб ликует; Игры, Смехи, Вахх и Харон веселю толпою следуют за судном нашего бессмертного пииты.

## Андрей Шенье

Посвящено Н.Н. Раевскому

Ainsi, triste et captif, ma lyre  
toutefois s'éveillait...

Меж тем, как изумленный мир  
На урну Байрона взирает,  
И хору европейских лир  
Близ Данте тень его внимает.

Зовет меня другая тень,  
Давно без песен, без рыданий  
С кровавой плахи в дни страданий  
Сошедшая в могильну сень.

Певцу любви, дубрав и мира  
Несу надгробные цветы.  
Звучит незнаемая лира,  
Пою. Мне внемлет он и ты.

Подъялась вновь усталая секира  
И жертву новую зовет.  
Певец готов; задумчивая лира  
В последний раз ему поет.

Завтра казнь, привычный пир народу;  
Но лира юного певца  
О чем поет? Поет она свободу:  
Не изменилась до конца!

<...>

1825

### К\*\*\*

Я помню чудное мгновенье:  
Передо мной явилась ты,  
Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты.<sup>30</sup>

В томленьях грусти безнадежной,  
В тревогах шумной суеты,  
Звучал мне долго голос нежный,  
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный  
Рассеял прежние мечты,  
И я забыл твой голос нежный,  
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья  
Тянулись тихо дни мои

Без божества, без вдохновенья,  
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:  
И вот опять явилась ты,  
Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,  
И для него воскресли вновь  
И божество, и вдохновенье,  
И жизнь, и слезы, и любовь.  
1825

### Граф Нулин

Пора, пора! рога трубят;  
Псаря в охотничьих уборах  
Чем свет уж на конях сидят,  
Борзые прыгают на сворах.  
Выходит барин на крыльцо;  
Всё, подбочась, обзрывает,  
Его довольное лицо  
Приятной важностью сияет.  
Чекмень затянутый на нем,  
Турецкий нож за кушаком,  
За пазухой во фляжке ром,  
И рог на бронзовой цепочке.  
В ночном чепце, в одном платочке,  
Глазами сонными жена  
Сердито смотрит из окна  
На сбор, на псарню тревогу...  
Вот мужу подвели коня;  
Он холку хватъ и в стремя ногу,  
Кричит жене: не жди меня!  
И выезжает на дорогу.

В последних числах сентября  
(Презренной прозой говоря)  
В деревне скучно: грязь, ненастье,  
Осенний ветер, мелкий снег,  
Да вой волков; но то-то счастье  
Охотнику! Не зная нег,  
В отъезде поле он гарцует,  
Везде находит свой ночлег,  
Бранится, мокнет и пирует  
Опустошительный набег.

А что же делает супруга  
Одна в отсутствии супруга?  
Занятий мало ль есть у ней:

Грибы солить, кормить гусей,  
Заказывать обед и ужин,  
В анбар и в погреб заглянуть, –  
Хозяйки глаз повсюду нужен;  
Он вмиг заметит что-нибудь.

К несчастью, героиня наша...  
(Ах! я забыл ей имя дать.  
Муж просто звал ее: Наташа,  
Но мы – мы будем называть:  
Наталья Павловна) к несчастью,  
Наталья Павловна совсем  
Своей хозяйственной частью  
Не занималась; затем,  
Что не в отеческом законе  
Она воспитана была,  
А в благородном пансионе  
У эмигрантки Фальбала.

Она сидит перед окном.  
Пред ней открыт четвертый том  
Сентиментального романа:  
*Любовь Элизы и Армана,*  
*Иль переписка двух семей.*  
Роман классический, старинный,  
Отменно длинный, длинный, длинный,  
Нравоучительный и чинный,  
Без романтических затей.

Наталья Павловна сначала  
Его внимательно читала,  
Но скоро как-то развлеклась  
Перед окном возникшей дракой  
Козла с дворовою собакой  
И ею тихо занялась.  
Кругом мальчишки хохотали.  
Меж тем печально, под окном,  
Индейки с криком выступали  
Вослед за мокрым петухом.  
Три утки полоскались в луже,  
Шла баба через грязный двор  
Белье повесить на забор,  
Погода становилась хуже –  
Казалось, снег идти хотел...  
Вдруг колокольчик зазвенел.

Кто долго жил в глуши печальной,  
Друзья, тот верно знает сам,  
Как сильно колокольчик дальный  
Порой волнует сердце нам.  
Не друг ли едет запоздалый,  
Товарищ юности удалой?..

Уж не она ли?.. Боже мой!  
 Вот ближе, ближе... сердце бьется...  
 Но мимо, мимо звук несется,  
 Слабей... и смолкнул за горой.

Натаалья Павловна к балкону  
 Бежит обрадована звону,  
 Глядит и видит: за рекой,  
 У мельницы, коляска скачет.  
 Вот на мосту – к нам точно! нет;  
 Поворотила влево. Вслед  
 Она глядит и чуть не плачет.

Но вдруг – о радость! косогор –  
 Коляска на бок. – «Филька, Васька!  
 Кто там? скорей! вон там коляска.  
 Сейчас везти ее на двор  
 И барина просить обедать!  
 Да жив ли он? беги проведать,  
 Скорей, скорей!..»

Слуга бежит.

Натаалья Павловна спешит  
 Взбить пышный локон, шаль накинуть,  
 Задернуть завес, стул подвинуть,  
 И ждет. «Да скоро ль, мой Творец?»  
 Вот едут, едут наконец.  
 Забрызганный в дороге дальшой,  
 Опасно раненый, печальный  
 Кой-как тащится экипаж.  
 Вслед барин молодой хромает,  
 Слуга-француз не унывает  
 И говорит: allons, courage!  
 Вот у крыльца, вот в сени входят.  
 Покаместь барину теперь  
 Покой особенный отводят  
 И настезь отворяют дверь,  
 Пока Picasard шумит, хлопочет,  
 И барин одеваться хочет,  
 Сказать ли вам, кто он таков?  
 Граф Нулин из чужих краев,  
 Где промотал он в вихре моды  
 Свои грядущие доходы.  
 Себя казать, как чудный зверь,  
 В Петрополь едет он теперь  
 С запасом фраков и жилетов,  
 Шляп, вееров, плащей, корсетов,  
 Булавок, запонок, лорнетов,  
 Цветных платков, чулков à jour,  
 С ужасной книжкою Гизота,  
 С тетрадью злых карикатур,

С романом новым Вальтер-Скотта,  
 С bons-mots парижского двора,  
 С последней песней Беранжера,  
 С мотивами Россини, Пера,  
 Et cetera, et cetera.

Уж стол накрыт. Давно пора;  
 Хозяйка ждет нетерпеливо.  
 Дверь отворилась. Входит граф;  
 Наталья Павловна, привстав,  
 Осведомляется учтиво,  
 Каков он? что нога его?  
 Граф отвечает: ничего.  
 Идут за стол. Вот он садится,  
 К ней подвигает свой прибор  
 И начинает разговор,  
 Святую Русь бранит, дивится,  
 Как можно жить в ее снегах,  
 Жалеет о Париже страх...  
 «А что театр?» – О! сиротеет,  
 C'est bien mauvais, ça fait pitié.  
 Тальма совсем оглох, слабеет,  
 И мамзель Марс – увы! стареет...  
 Зато Потье, le grand Potier!  
 Он славу прежнюю в народе  
 Дольше поддержал один. –  
 «Какой писатель нынче в моде?»  
 – Все d'Argincourt и Ламартин. –  
 «У нас им также подражают».  
 – Нет? право? так у нас умы  
 Уж развиваться начинают?  
 Дай Бог, чтоб просветились мы! –  
 «Как тальи носят?» – Очень низко,  
 Почти до... вот, по этих пор.  
 Позвольте видеть ваш убор...  
 Так: рюши, банты... здесь узор...  
 Все это к моде очень близко. –  
 «Мы получаем Телеграф».  
 – Ага!.. Хотите ли послушать  
 Прелестный водевиль? – И граф  
 Поет. «Да, граф, извольте ж кушать».  
 – Я сыт. – Итак...

Из-за стола

Встают. Хозяйка молодая  
 Черезвычайно весела.  
 Граф, о Париже забывая,  
 Дивится: как она мила!  
 Проходит вечер неприметно;  
 Граф сам не свой. Хозяйки взор  
 То выражается приветно,



То вдруг потушен безответно...  
 Глядишь – и полночь вдруг на двор –  
 Давно храпит слуга в передней,  
 Давно поет петух соседний,  
 В чугунову доску сторож бьет;  
 В гостиной свечки догорели.  
 Наталья Павловна встает:  
 «Пора, прощайте: ждут постели.  
 Приятный сон»... С досадой встав,  
 Полулюбленный, нежный граф  
 Целует руку ей – и что же?  
 Куда кокетство не ведет?  
 Проказница – прости ей, Боже! –  
 Тихонько графу руку жмет.

Наталья Павловна раздета;  
 Стоит Параша перед ней.  
 Друзья мои, Параша эта  
 Наперсница ее затей:  
 Шьет, моет, вести переносит,  
 Изношенных капотов просит,  
 Порою с барином шалит,  
 Порой на барина кричит,  
 И лжет пред барыней отважно.  
 Теперь она толкует важно  
 О графе, о делах его,  
 Не пропускает ничего,  
 Бог весть, разведать как успела.  
 Но госпожа ей наконец  
 Сказала: «полно, надоела!»  
 Спросила кофту и чепец,  
 Легла и выдти вон велела.

Своим французом между тем  
 И граф раздет уже совсем.  
 Ложится он, сигару просит,  
 Monsieur Ricard ему приносит  
 Графин, серебряный стакан,  
 Сигару, бронзовый светильник,  
 Щипцы с пружиною, будильник  
 И неразрезанный роман.

В постеле лежа, Вальтер-Скотта  
 Глазами пробегает он.  
 Но граф душевно развлечен...  
 Неугомонная забота  
 Его тревожит; мыслит он:  
 «Неужто вправду я влюблен?  
 Что, если можно?.. вот забавно!  
 Однако ж это было б славно.

Я, кажется, хозяйке мил» –  
И Нулин свечку погасил.

Несносный жар его объемлет,  
Не спится графу. Бес не дремлет  
И дразнит грешною мечтой  
В нем чувства. Пылкий наш герой  
Воображает очень живо  
Хозяйки взор красноречивый,  
Довольно круглый, полный стан,  
Приятный голос, прямо женский,  
Лица румянец деревенский –  
Здоровье краше всех румян.  
Он помнит кончик ножки нежной,  
Он помнит: точно, точно так!  
Она ему рукой небрежной  
Пожала руку; он дурак,  
Он должен бы остаться с нею –  
Ловить минутную затею.  
Но время не ушло. Теперь  
Отворена конечно дверь...  
И тотчас, на плеча накинув  
Свой пестрый шелковый халат  
И стул в потемках опрокинув,  
В надежде сладостных наград,  
К Лукреции Тарквиний новый  
Отправился на всё готовый.

Так иногда лукавый кот,  
Жеманный баловень служанки,  
За мышью крадется с лежанки:  
Украдкой, медленно идет,  
Полузажмураясь подступает,  
Свернется в ком, хвостом играет,  
Разинет когти хитрых лап  
И вдруг бедняжку цап-царап.

Влюбленный граф в потемках бродит,  
Дорогу ощупью находит.  
Желаньем пламенным томим,  
Едва дыханье переводит –  
Трепещет, если пол под ним  
Вдруг заскрышит. Вот он подходит  
К заветной двери и слегка  
Жмет ручку медную замка;  
Дверь тихо, тихо уступает...  
Он смотрит: лампа чуть горит  
И бледно спальню освещает,  
Хозяйка мирно поживает,  
Иль притворяется, что спит.

Он входит, медлит, отступает –  
 И вдруг упал к ее ногам.  
 Она... Теперь, с их позволения,  
 Прошу я петербургских дам  
 Представить ужас пробужденья  
 Натальи Павловны моей  
 И разрешить, что делать ей?

Она, открыв глаза большие,  
 Смотрит на графа – наш герой  
 Ей сыплет чувства выписные  
 И дерзновенною рукой  
 Коснуться хочет одеяла,  
 Совсем смутив ее сначала...  
 Но тут опомнилась она,  
 И гнева гордого полна,  
 А впрочем, может быть, и страха,  
 Она Тарквинию с размаха  
 Дает – пощечину. Да, да,  
 Пощечину, да ведь какую!

Сгорел граф Нулин от стыда,  
 Обиду проглотив такую.  
 Не знаю, чем бы кончил он,  
 Досадой страшною пылая –  
 Но шпич косматый, вдруг залая,  
 Прервал Параша крепкий сон.  
 Услышав граф ее походку  
 И проклиная свой ночлег  
 И своенравную красотку,  
 В постыдный обратился бег.

Как он, хозяйка и Параша  
 Проводят остальную ночь,  
 Воображайте. Воля ваша,  
 Я не намерен вам помочь.

Восстав поутру молчаливо,  
 Граф одевается лениво,  
 Отделкой розовых ногтей  
 Зевая занялся небрежно,  
 И галстук вяжет неприлежно,  
 И мокрой щеткою своей  
 Не гладит стриженных кудрей.  
 О чем он думает – не знаю;  
 Но вот его позвали к чаю.  
 Что делать? Граф, преодолев  
 Неловкий стыд и тайный гнев,  
 Идет.

Проказница младая,  
 Насмешливый потупя взор  
 И губки алые кусая,

Заводит скромно разговор  
 О том, о сем. Сперва смущенный,  
 Но постепенно ободренный,  
 С улыбкой отвечает он.  
 Получаса не проходило,  
 Уж он и шутит очень мило,  
 И чуть ли снова не влюблен.  
 Вдруг шум в передней. Входят. Кто же?  
 «Наташа, здравствуй».

– Ах, мой Боже...

Граф, вот мой муж. Душа моя,  
 Граф Нулин. –

«Рад сердечно я...

Какая скверная погода...  
 У кузицы я видел ваш  
 Совсем готовый экипаж.  
 Наташа! там у огорода  
 Мы затравили русака...  
 Эй! водки! Граф, прошу отведасть.  
 Прислали нам издалека...  
 Вы с нами будете обедать?»  
 – Не знаю, право; я спешу. –  
 «И, полно, граф, я вас прошу.  
 Жена и я, гостям мы рады.  
 Нет, граф, останьтесь!»

Но с досады

И все надежды потеряв,  
 Упрямится печальный граф.  
 Уж подкрепив себя стаканом,  
 Пикар кряхтит за чемоданом.  
 Уже к коляске двое слуг  
 Несут привинчивать сундук.  
 К крыльцу подвезена коляска,  
 Пикар всё скоро уложил,  
 И граф уехал. Тем и сказка  
 Могла бы кончиться, друзья;  
 Но слова два прибавлю я:

Когда коляска ускакала,  
 Жена всё мужу рассказала  
 И подвиг графа моего  
 Всему соседству описала.  
 Но кто же болес всего  
 С Натальей Павловной смеялся?  
 Не угадать вам. Почему ж?  
 Муж? – Как не так! совсем не муж.  
 Он очень этим оскорблялся,  
 Он говорил, что граф дурак,  
 Молокосос; что если так,  
 То графа он визжать заставит,

Что псами он его заправит.  
Смеялся Лидин, их сосед,  
Помещик двадцати трех лет.

Теперь мы можем справедливо  
Сказать, что в наши времена  
Супругу верная жена,  
Друзья мои, совсем не диво.<sup>31</sup>  
1825

**[Возражение на статью А. Бестужева  
«Взгляд на русскую словесность в течение 1824  
и начала 1825 годов»]**

Бестужев предполагает, что словесность всех народов следовала общим законам природы.

Что это значит? Первый век ее был возрастом *гениев*.

<...> Романтическая словесность началась триолетами. Таинства, ле, фаблю предшествовали созданиям Ариоста, Кальдерона, Данте, Шекспира. После кавалера *Marini* явился *Alfieri*, *Monti* и *Foscolo*, после Попа и Аддиссона – Байрон, Мур и Соуве.<sup>32</sup> <...>

У нас есть критика? где ж она? Где наши Аддиссоны, Лагарпы, Шлегели, *Sismondi*? что мы разобрали? чьи литературные мнения сделались народными, на чьи критики можем мы сослаться, опереться? <...>  
1825

**О поэзии классической и романтической**

<...> Два обстоятельства имели решительное действие на дух европейской поэзии: нашествие мавров и крестовые походы.

Мавры внушили ей исступление и нежность любви, приверженность к чудесному и роскошное красноречие востока; рыцари сообщили свою набожность и простодушие, свои понятия о геройстве и вольность нравов походных станов Годфреда и Ричарда.

Таково было смиренное начало романтической поэзии. Если бы она остановилась на сих опытах, то строгие приговоры французских критиков были бы справедливы, но отрасли ее быстро и пышно процвели, и она является нам соперницею древней музыки.

Италия присвоила себе ее эпопею, полуафриканская Гишгания завладела трагедией и романом, Англия противу имени *Dante*, Ариоста и Кальдерона с гордостью выставила имена Спенсера, Мильтона и Шекспира.<...>

[1825]

## [О народности в литературе]

С некоторых пор вошло у нас в обыкновение говорить о народности, требовать народности, жаловаться на отсутствие народности в произведениях литературы. но никто не думал определить, что разумет он под словом народность.

Один из наших критиков, кажется, полагает, что народность состоит в выборе предметов из отечественной истории, другие видят народность в словах, т.е. радуются тем, что, изъясняясь по-русски, употребляют русские выражения.

Но мудрено отъять у Шекспира в его «Отелло», «Гамлете», «Мера за меру» и проч. – достоинства большой народности; Вега и Кальдерон поминутно переносят во все части света, заемлют предметы своих трагедий из итальянских новелл, из французских ле. Ариосто воспевает Карломана, французских рыцарей и китайскую царевну. Трагедии Расина взяты им из древней истории.

Мудрено однако же у всех сих писателей оспаривать достоинства великой народности. Напротив того, *что есть народного в Россиаде и в Петриаде кроме имен*, как справедливо заметил кн. Вяземский. Что есть народного в Ксении, рассуждающей шестистопными ямбами о власти родительской с наперсницей посреди стана Димитрия?

Народность в писателе есть достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками – для других оно или не существует, или даже может показаться пороком. Ученый немец негодует на учтивость героев Расина, француз смеется, видя в Кальдероне Кориолана, вызывающего на дуэль своего противника. Всё это носит однако ж печать народности.

Климат, образ правления, вера, дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу.

[1825–1826]

## К Баратынскому

Стих каждый в повести твоей  
Звучит и блещет, как червонец.  
Твоя чухоночка, сй-сй,  
Гречанок Байрона милей,  
А твой зоил прямой чухонец.  
1826

## Послание Дельвигу

<...>

Прими ж сей череп, Дельвиг, он  
Принадлежит тебе по праву.  
Обделай ты его, барон,  
В благопристойную оправу.  
Изделье гроба преврати  
В увеселительную чашу,

Вином кипящим освяти,  
 Да запивай уху да кашу.  
 Певцу Корсара подражай<sup>33</sup>  
 И скандинавов рай воинский  
 В пирах домашних воскрешай,  
 Или как Гамлет-Баратынский<sup>34</sup>  
 Над ним задумчиво мечтай:  
 О жизни мертвый проповедник,  
 Вином ли полный иль пустой,  
 Для мудреца, как собеседник,  
 Он стоит головы живой.  
 1827

### [О драмах Байрона]

Английские критики оспаривали у лорда Байрона драматический талант. Они, кажется, правы. Байрон, столь оригинальный в «Чайльд Гарольде», в «Гяуре» и в «Дон Жуане», является подражателем, коль скоро вступает на поприще драматическое: в Manfred'e он подражал «Фаусту», заменяя простонародные сцены и субботы другими, по его мнению благороднейшими; но «Фауст» есть величайшее создание поэтического духа; он служит представителем новейшей поэзии, точно как «Илиада» служит памятником классической древности.

В других трагедиях, кажется, образцом Байрону был Alfieri. «Каин» имеет одну токмо форму драмы, но его бессвязные сцены и отвлеченные рассуждения в самом деле относятся к роду скептической поэзии «Чайльд-Гарольда». Байрон бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества, потом отвернулся от них и погрузился в самого себя. Он представил нам призрак себя самого. Он создал себя вторично, то под чалмою ренегата, то в плаще корсара, то гяуром, издыхающим под схимиею, то странствующим посреди... В конце концов он постиг, создал и описал единый характер (именно свой), всё, кроме некоторых сатирических выходов, рассеянных в его творениях, отнес он к сему мрачному, могущественному лицу, столь таинственно пленительному. Когда же он стал составлять свою трагедию, то каждому действующему лицу роздал он по одной из составных частей сего мрачного и сильного характера, и таким образом раздробил величественное свое создание на несколько лиц мелких и незначительных. Байрон чувствовал свою ошибку и в последствии времени принялся вновь за «Фауста», подражая ему в своем «Превращенном уроде» (думая тем исправить le chef d'oeuvre). [1827]

### Отрывки из писем, мысли и замечания

<...> Стерн говорит, что живейшее из наших наслаждений кончится содрогающим почти болезненным.<sup>35</sup> Несносный наблюдатель! знал бы про себя; многие того не заметили б. <...>

### Примеры невежливости

[Из черновых редакций] <...> Кстати или некстати некоторые критики, добровольные опекуны прекрасного пола, разбирая сочинения, замечают обыкновенно, что такие-то слова, выражения, описания дамам читать будет неприлично как слишком простонародные, низкие. Как будто описания шотландских кабаков в Вальтере Скотте должны непременно оскорблять тонкое чувство модной дамы! Как будто женщина какое-то идеальное существо, чуждое всему земному, и должно ужасаться простых прозаических подробностей жизни!

Эта провинциальная чопорность доказывает малое знание света и того, что в нем принято или нет.

Это-то по несчастью слишком у нас обыкновенно и приносит немалый вред нашей младенческой и жеманной литературе.

\* \* \*

Один из наших поэтов говорил гордо: Пускай в стихах моих найдется бессмыслица, зато уж прозы не найдется. Байрон не мог изъяснить некоторые свои стихи. Есть два рода бессмыслицы: одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами; другая – от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения. <...>

\* \* \*

Байрон говорил, что никогда не возьмется описывать страну, которой не видал бы собственными глазами. Однако ж в Дон Жуане описывает он Россию, зато приметны некоторые погрешности противу местности. Например, он говорит о грязи улиц Измаила<sup>36</sup>; Дон Жуан отправляется в Петербург *в кибитке, беспокойной повозке без рессор, по дурной каменистой дороге*. Измаил взят был зимою, в жестокий мороз. На улицах неприятельские трупы прикрыты были снегом, и победитель ехал по ним, удивляясь опрятности города: Помилуй Бог, как чисто!.. Зимняя кибитка не беспокойна, а зимняя дорога не камениста. Есть и другие ошибки, более важные. – Байрон много читал и расспрашивал о России. Он, кажется, любил ее и хорошо знал ее новейшую историю. В своих поэмах он часто говорит о России, о наших обычаях. Сон Сарданапалов<sup>37</sup> напоминает известную политическую карикатуру, изданную в Варшаве во время Суворовских войн. В лице Нимврода изобразил он Петра Великого. В 1813 году Байрон намеревался через Персию приехать на Кавказ.<sup>38</sup> <...>

1827

### Материалы к «Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям»

<...> Есть различная смелость: Державин написал: «орел, на высоте паря», когда счастье «тебе хребет свой с грозным смехом повернуло, ты видишь, видишь, как мечты сиянье вокруг тебя заснуло». <...> Кальдерон называет молнии огненными языками небес, глаголющих земле. Мильтон говорит, что адское пламя давало токмо различать вечную тьму преисподней.

Мы находим эти выражения смелыми, ибо они сильно и необыкновенно передают нам ясную мысль и картины поэтические.



Французы доньне еще удивляются смелости Расина, употребившего слово pavé, помост. Et baise avec respect le pavé de tes temples [И почтительно целует плиты твоих храмов].

И Делиль гордится тем, что он употребил слово vache [корова].

Презренная словесность, повинующаяся таковой мелочной и своенравной критике. Жалка участь поэтов (какого б достоинства они впрочем ни были), если они принуждены славиться подобными победами над предрассудками вкуса!

Есть высшая смелость: смелость изобретения, создания, где план обширный объёмляется творческою мыслию – такова смелость Шекспира, Dante, Milton'a, Гёте в «Фаусте», Молиера в «Тартюфе». <...>

1827

Kennst du das Land...  
Wilh. Meist.

По клюкву, по клюкву,  
по ягоду, по клюкву...

Кто знает край, где небо блещет  
Неизъяснимой синевою,  
Где море теплою волной  
Вокруг развалин тихо плещет;  
Где вечный лавр и кипарис  
На воле гордо разрослись;  
Где пел Торквато величавый;  
Где и теперь во мгле ночной  
Адриатической волной  
Повторены его октавы;  
Где Рафаэль живописал;  
Где в наши дни резец Кановы  
Послушный мрамор оживлял,  
И Байрон, мученик суровый,  
Страдал, любил и проклинал?  
<...>  
1828

### To Dawe, Esqr

Зачем твой дивный карандаш  
Рисует мой арапский профиль?  
Хоть ты векам его предашь,  
Его освищет Мефистофель.

Рисуй Олениной черты.  
В жару сердечных вдохновений,  
Лишь юности и красоты  
Поклонником быть должен гений.<sup>39</sup>  
1828

Ворон к ворону летит,  
 Ворон ворону кричит:  
 Ворон! где б нам отобедать?  
 Как бы нам о том проведать?

Ворон ворону в ответ:  
 Знаю, будет нам обед;  
 В чистом поле под раkitой  
 Богатырь лежит убитый.

Кем убит и от чего,  
 Знает сокол лишь его,  
 Да кобылка вороная,  
 Да хозяйка молодая.

Сокол в рощу улетел,  
 На кобылку недруг сел,  
 А хозяйка ждет милого  
 Не убитого, живого.<sup>40</sup>  
 1828

### Анчар

В пустыне чахлой и скупой,  
 На почве, зноем раскаленной,  
 Анчар, как грозный часовой,  
 Стоит – один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей  
 Его в день гнева породила,  
 И зелень мертвую ветвей  
 И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,  
 К полудню растопясь от зною,  
 И застывает ввечеру  
 Густой прозрачную смолою.

К нему и птица не летит  
 И тигр нейдет – лишь вихорь черный  
 На древо смерти набезит  
 И мчится прочь уже тлетворный.

И если туча оросит,  
 Блуждая, лист его дремучий,  
 С его ветвей уж ядовит  
 Стекает дождь в песок горячий.

Но человека человек  
 Послал к анчару властным взглядом,  
 И тот послушно в путь потек  
 И к утру возвратился с ядом.

Принес он смертную смолу  
 Да ветвь с увядшими листьями,  
 И пот по бледному челу  
 Струился хладными ручьями;

Принес – и ослабел и лег  
 Под сводом шалаша на лыки,  
 И умер бедный раб у ног  
 Непобедимого владыки.

А князь тем ядом напитал  
 Свои послушливые стрелы,  
 И с ними гибель разослал  
 К соседям в чуждые пределы.<sup>41</sup>  
 1828

### Полтава

The power and glory of the war,  
 Faithless as their vain votaries, men,  
 Had pass'd to the triumphant Czar.  
*Byron*<sup>42</sup>

### Посвящение.

Тебе – но голос музы тёмной  
 Коснется ль уха твоего?  
 Поймешь ли ты душою скромной  
 Стремленье сердца моего?  
 Иль посвящение поэта,  
 Как некогда его любовь,  
 Перед тобою без ответа  
 Пройдет, непризнанное вновь?

Узнай, по крайней мере, звуки,  
 Бывало, милые тебе –  
 И думай, что во дни разлуки,  
 В моей изменчивой судьбе,  
 Твоя печальная пустыня,  
 Последний звук твоих речей  
 Одно сокровище, святыня,  
 Одна любовь души моей.<sup>43</sup>

### Песнь первая

<...>

Была та смутная пора,  
 Когда Россия молодая,  
 В бореньях силы напрягая,  
 Мужала с гением Петра.  
 Суровый был в науке славы

Ей дан учитель: не один  
 Урок неожиданный и кровавый  
 Задал ей шведский паладин.  
 Но в искушеньях долгой кары  
 Перетерпев судеб удары,  
 Окрепла Русь. Так тяжкий млат,  
 Дробя стекло, кует булат.

Венчанный славой бесполезной,  
 Отважный Карл скользил над бездной.  
 Он шел на древнюю Москву,  
 Взметая русские дружины,  
 Как вихорь гонит прах долины  
 И клонит пыльную траву.  
 Он шел путем, где след оставил  
 В дни наши новый, сильный враг,  
 Когда падением ославил  
 Муж рока свой попятный шаг<sup>(1)</sup>.  
 <...>

[Из примечаний А.С. Пушкина]

(1) Смотр. *Мазену* Байрона.

[В рукописи имеется примечание, исключенное при печати:]  
 Другой могущественный враг. Из Байрона

– a day more dark and drear,  
 And a more memorable year,  
 Should give to slaughter and to shame  
 A mightier host and haughtier name;  
 A greater wreck, a deeper fall,  
 A shock to one – a thunderbolt to all.  
 [Пока день, более мрачный и страшный,  
 И более памятный год  
 Не предадут кровопролитию и позору  
 Ещё более могущественное войско и более надменное имя;  
 (Это будет) более сильное крушение, более глубокое  
 падение,  
 Толчок для одного – удар молнии для всех].

Г. Каченовский остроумно замечает, что дело идет о Наполеоне, но что он и не того стоит <...>. 1828–1829

### [О трагедии Олина «Корсар»]

Ни одно из произведений лорда Байрона не сделало в Англии такого сильного впечатления, как его поэма «Корсар», несмотря на то, что она в достоинстве уступает многим другим: «Гяру» в пламенном изображении страстей, «Осаде Коринфа», «Шильонскому узнику» в трогательном развитии сердца человеческого, в трагической силе «Паризине», наконец 3 и 4-ой песням «Child Harold» в глубокомыслии и высоте парения истинно лирического и в удивительном Шекспировском разнообразии «Дон Жуану». «Корсар» неизмеримым своим успехом был обязан характеру главного лица, таинственно напоминающего нам человека, коего роковая воля правила тогда одной частью Европы, угрожая другой. По крайней

мере английские критики предполагали в Байроне сие намерение, но вероятнее, что поэт и здесь вывел на сцену лицо, являющееся во всех его созданиях и которое наконец принял он сам на себя в «Чайльд-Гарольде». Как бы то ни было, поэт никогда не изъяснил своего намерения: сближение себя с Наполеоном нравилось его самолюбию.

Байрон мало заботился о планах своих произведений, или даже вовсе не думал о них: несколько сцен, слабо между собою связанных, были ему достаточны для сей бездны мыслей, чувств и картин. Английские критики оспаривали у него гений драматический – и Байрон за то на них досадовал. Дело в том, что он постиг, полюбил один токмо характер (именно свой), всё, кроме некоторых сатирических выходов, рассеянных в его творениях, отнес он к сему мрачному, могущественному лицу, столь таинственно пленительному. Когда же он стал составлять свою трагедию, то каждому действующему лицу роздал он по одной из составных частей сего мрачного и сильного характера – и таким образом раздробил величественное свое создание на несколько лиц мелких и незначительных.

Вот почему, несмотря на великие красоты поэтические, его трагедии вообще ниже его гения, и драматическая часть в его поэмах (кроме разве одной «Паризины») не имеет никакого достоинства...

Что же мы подумаем о писателе, который из поэмы «Корсар» выберет один токмо план, достойный нелепой испанской повести, и по сему детскому плану составит драматическую трилогию, заменив очаровательную глубокую поэзию Байрона прозой надутой и уродливой, достойной наших несчастных подражателей покойного Коцебу? – вот что сделал г-н Олин<sup>44</sup>, ... написав свою романтическую трагедию «Корсер», – подражание Байрону. Спрашивается: что же в байроновой поэме его поразило – неужели план? о *miratores* [поклонники]!..

[1828]

### [Письмо к издателю «Московского Вестника»]

Благодарю вас за участие, принимаемое вами в судьбе «Годунова»: ваше нетерпение видеть его очень лестно для моего самолюбия; но теперь, когда, по стечению благоприятных обстоятельств, открылась мне возможность его напечатать, предвижу новые затруднения, мною прежде и не подозреваемые.

С 1820 года, будучи удален от московских и петербургских обществ, я в одних журналах мог наблюдать направление нашей словесности. Читая жаркие споры о романтизме, я вообразил, что и в самом деле нам наскучила правильность и совершенство классической древности и бледные, однообразные списки ее подражателей, что утомленный вкус требует иных, сильнейших ощущений и ищет их в мутных, но кипящих источниках новой, народной поэзии. Мне казалось однако довольно странным, что младенческая наша словесность, ни в каком роде не представляющая никаких образцов, уже успела немногими опытами притупить вкус читающей публики; но, думал я, французская словесность, всем нам с младенчества и так коротко знакомая, вероятно, причину сего явления. Искренно признаюсь, что я воспитан в страхе почтеннейшей публики и что не вижу никакого стыда угождать ей и следовать духу времени. Это первое признание ведет к другому, более важному: так и быть, каюсь, что я в литературе скептик (чтоб не сказать хуже) и что все ее секты для меня равны, представляя каждая свою выгодную и невыгодную сторону. Обряды и формы

должны ли суеверно поработать литературную совесть? Зачем писателю не поинтоваться принятым обычаем в словесности своего народа, как он повинуется законам своего языка? Он должен владеть своим предметом, несмотря на затруднительность правил, как он обязан владеть языком, несмотря на грамматические оковы.

\* \* \*

Твердо уверенный, что устарелые формы нашего театра требуют преобразования, я расположил свою трагедию по системе Отца нашего Шекспира, и принес ему в жертву пред его алтарь два классические единства, едва сохранив последнее.<sup>45</sup> Кроме сей пресловутой тройственности есть единство, о котором французская критика и не упоминает (вероятно, не предполагая, что можно оспаривать его необходимость), единство слога – сего 4-го необходимого условия французской трагедии, от которого избавлен театр испанский, английский и немецкий. Вы чувствуете, что и я последовал столь соблазнительному примеру. <...> [1828]

### [Возражение на статью «Атenea»]

<...> Если наши чопорные критики сомневаются, можно ли позволить нам употребление риторических фигуров и тропов, о коих они могли бы даже получить некоторое понятие в предутотворительном курсе своего учения, что же они скажут о поэтической дерзости Кальдерона, Шекспира или нашего Державина. <...> [1828]

### [О поэтическом слоге]

В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному. Так некогда во Франции blasés [пресыщенные], светские люди, восхищались музюю Ваде, так ныне Wordsworth, Coleridge увлекли за собою мнения многих. Но Ваде не имел ни воображения, ни поэтического чувства, его остроумные произведения дышат одною веселостию, выраженной площадным языком торговков и носильщиков. Произведения английских поэтов, напротив, исполнены глубоких чувств и поэтических мыслей, выраженных языком честного простолюдима. У нас это время, слава Богу, еще не приспело, так называемый язык богов так еще для нас нов, что мы называем поэтом всякого, кто может написать десяток ямбических стихов с рифмами. Мы не только еще не подумали приблизить поэтический слог к благородной простоте, но и прозе стараемся придать напыщенность, поэзию же, освобожденную от условных украшений стихотворства, мы еще не понимаем. Опыты Жуковского и Катенина были неудачны не сами по себе, но по действию, ими произведенному. Мало, весьма мало людей поняли достоинство переводов из Гебеля, и еще менее силу и оригинальность «Убийцы», баллады, которая может стать наряду с лучшими произведениями Бюргера и Саувея.<sup>46</sup> Обращение убийцы к месяцу, единственному свидетелю его злодеяния,

Гляди, гляди, плешивый –

стих, исполненный истинно трагической силы, показался только смешон людям легкомысленным, не рассуждающим, что иногда ужас выражается смехом. Сцена тени в «Гамлете» вся писана шутливым слогом, даже низким, но волос становится дыбом от Гамлетовых шуток.

[1828]

### [«Бал» Баратынского]

Наши поэты не могут жаловаться на излишнюю строгость критиков и публики – напротив. Едва заметим в молодом писателе навык к стихосложению, знание языка и средств оно, уже тотчас спешим приветствовать его титулом гения, за гладкие стишки – нежно благодарим его в журналах от имени человечества, неверный перевод, бледное подражание сравниваем без церемонии с бессмертными произведениями Гёте и Байрона\*: добродушие смешное, но безвредное; истинный талант доверяет более собственному суждению, основанному на любви к искусству, нежели малообдуманному решению записных Аристархов. Зачем лишать златую посредственность невинных удовольствий, доставляемых журнальным торжеством!

Из наших поэтов Баратынский всех менее пользуется обычной благосклонностию журналов. – Оттого ли, что верность ума, чувства, точность выражения, вкус, ясность и стройность менее действует на толпу, чем преувеличение (exagération) модной поэзии, потому ли, что наш поэт некоторыми эпиграммами заслужил негодование братии, не всегда смиренной, – как бы то ни было, критики изъяслял<sup>1</sup> в отношении к нему или недобросовестное равнодушие или даже неприязненное расположение. – Не упоминая уже об известных шуточках покойного «Благонмеренного», известного весельчака, заметим, для назидания молодых писателей, что появление «Эды», произведения столь замечательного оригинальной своею простотою, прелестью рассказа, живостью красок и очерком характеров, слегка, но мастерски означенных, появление «Эды» подало только повод к неприличной статейке в «Северной Пчеле» и слабому возражению, кажется, в «Московском Телеграфе». Как отозвался «Московский Вестник» об собрании стихотворений нашего первого элегического поэта! Между тем Баратынский спокойно усовершенствовался – последние его произведения являются плодами зрелого таланта. Пора Баратынскому занять на русском Парнасе место, давно ему принадлежащее.

Его последняя поэма «Бал», напечатанная в «Северных Цветах», подтверждает наше мнение. Сие блестящее произведение исполнено оригинальных красот и прелести необыкновенной. Поэт с удивительным искусством соединил в быстром рассказе тон шутливый и страстный, метафизику и поэзию. <...>

[1828]

\* Таким образом набралось у нас несколько своих Пиндаров, Аристов и Байронов и десятка три писателей, делающих истинную честь нашему веку.

## Калмычке

Прощай, любезная калмычка!  
 Чуть-чуть, на зло моих затей,  
 Меня похвальная привычка  
 Не увлекла среди степей  
 Вслед за кибиткою твоей.  
 Твои глаза конечно узки,  
 И плосок нос, и лоб широк,  
 Ты не лепечешь по-французски,  
 Ты шелком не сжимаешь ног;  
 По-английски пред самоваром  
 Узором хлеба не крошишь,  
 Не восхищаешься Сен-Маром,  
 Слегка Шекспира не ценишь,  
 Не погружаешься в мечтанье,  
 Когда нет мысли в голове,  
 Не распеваешь: Ma dov'e,  
 Галоп не прыгаешь в собрание...  
 Что нужды? – Ровно полчаса,  
 Пока коней мне запрягали,  
 Мне ум и сердце занимали  
 Твой взор и дикая краса.  
 Друзья! не всё ль одно и то же:  
 Забыться праздною душой  
 В блестящей зале, в модной ложе,  
 Или в кибитке кочевой?  
 1829

Всё тихо – на Кавказ идет ночная мгла,  
 Восходят звезды надо мною.  
 Мне грустно и легко – печаль моя светла,  
 Печаль моя полна тобою –  
 Тобой, одной тобой – уньнья моего  
 Ничто не мучит, не тревожит,  
 И сердце вновь горит и любит оттого,  
 Что не любить оно не может.  
 Прошли за днями дни. Сокрылось много лет.  
 Где вы, бесценные созданья?  
 Иные далеко, иных уж в мире нет,  
 Со мной одни воспоминанья.  
 Я твой попрежнему, тебя люблю я вновь  
 И без надежд и без желаний.  
 Как пламень жертвенный чиста моя любовь  
 И нежность девственных мечтаний.<sup>47</sup>  
 1829



## Мёдок (Мёдок в Уаллах)

Попутный вест ветр.— Идет корабль, —  
 Во всю длину развиты флаги, вздулись  
 Ветрила все, — идет, и пред кормой  
 Морская пена раздается. — Многим  
 Наполнилася грудь у всех пловцов.  
 Теперь, когда свершен опасный путь,  
 Родимый край они узрели снова;  
 Один стоит, вдаль устремляя взоры,  
 И в темных очерках ему рисует  
 Мечта давно знакомые предметы,  
 Залив и мыс, — пока недвижны очи  
 Не заболят. Товарищу другой  
 Жмет руку и приветствует с отчизной,  
 И Господа благодарит, рыдая.  
 Другой, безмолвную творя молитву  
 Угоднику и Деве Пресвятой,  
 И милостьнь и дальних поклонений  
 Старинные обеты обновляет,  
 Когда найдет он всё благополучно.  
 Задумчив, нем и ото всех далек,  
 Сам Мёдок погружен в воспоминанья  
 О славном подвиге, то в снах надежды,  
 То в горестных предчувствиях и страхе.  
 Прекрасен вечер, и попутный ветр  
 Звучит меж вервий, и корабль надежный  
 Бежит, шума, меж волн.  
 Садится солнце.<sup>48</sup>  
 1829

Ещё одной высокой, важной песни  
 Внемли, о Феб, и смолкнувшую лиру  
 В разрушенном святилище твоём  
 Повещу я, да издаст она,  
 Когда столбы его колеблет буря,  
 Печальный звук! Ещё единый гимн —  
 Внемлите мне, пенаты, — вам пою  
 Обетный гимн. Советники Зевеса,  
 Живете ль вы в небесной глубине,  
 Иль, божества всевышние, всему  
 Причина вы, по мненью мудрецов,  
 И следуют торжественно за вами  
 Великий Зевс с супругой белоглавой  
 И мудрая богиня, дева силы,

Афинская Паллада, – вам хвала.  
 Примите гимн, таинственные силы!  
 Хоть долго был изгнанием удален  
 От ваших жертв и тихих возлияний,  
 Но вас любить не остывал я, боги,  
 И в долгие часы пустынной грусти  
 Томительно просилась отдохнуть  
 У вашего святого пепелища  
 Моя душа – зане там мир.  
 Так, я любил вас долго! Вас зову  
 В свидетели, с каким святым волнением  
 Оставил я людское племя,  
 Дабы стеречь ваш огонь уединенный,  
 Беседуя с самим собою. Да,  
 Часы неизъяснимых наслаждений!  
 Они дают мне знать сердечну глубь,  
 В могуществе и немощах его,  
 Они меня любить, лелеять учат  
 Не смертные, таинственные чувства,  
 И нас они науке первой учат –  
*Чтить самого себя.* О нет, вовек  
 Не преставал молить благоговейно  
 Вас, божества домашние.<sup>49</sup>  
 1829

### [О переводе романа Б. Констан «Адольф»]

Князь Вяземский перевел и скоро напечатает славный роман Бенж. Констан. *Адольф* принадлежит к числу *двух или трех романов*,

В которых отразился век,  
 И современный человек  
 Изображен довольно верно  
 С его безнравственной душой  
 Себялюбивой и сухой,  
 Мечтаньям преданной безмерно,  
 С его озлобленным умом,  
 Кипящим в действии пустом\*

Бенж. Констан первый вывел на сцену сей характер, впоследствии обнародованный гением лорда Байрона. С нетерпением ожидаем появления сей книги. Любопытно видеть, каким образом опытное и живое перо кн. Вяземского победило трудность метафизического языка, всегда стройного, светского, часто вдохновенного. В сем отношении перевод будет истинным созданием и важным событием в истории нашей литературы.<sup>51</sup>

[1829]

## [О «Ромео и Джульете» Шекспира]

Многие из трагедий, приписываемых Шекспиру, ему не принадлежат, а только им поправлены. Трагедия «Ромео и Джульета», хотя слогом своим и совершенно отделяется от известных его приемов, но она так явно входит в его драматическую систему и носит на себе так много следов вольной и широкой его кисти, что ее должно почтить сочинением Шекспира. В ней отразилась Италия, современная поэту, с ее климатом, страстями, праздниками, негой, сонетами, с ее роскошным языком, исполненным блеска и *soncetti*. Так понял Шекспир драматическую местность. После Джульеты, после Ромео, сих двух очаровательных созданий Шекспировской грации, Меркутио, образец молодого кавалера того времени, изысканный, привязчивый, благородный Меркутио есть замечательнейшее лицо из всей трагедии. Поэт избрал его в предстатели итальянцев, бывших модным народом Европы, французами XVI века.<sup>50</sup>  
[1829]

### [Роман в письмах]

<...>

#### 3. Лиза – Саше.

Письмо твое меня чрезвычайно утешило – оно так живо напомнило мне Петербург. Мне казалось, я тебя слышу! Как смешны твои вечные предположения! Ты подозреваешь во мне какие-то глубокие, тайные чувства, какую-то несчастную любовь – не правда ли? успокойся, милая; ты ошибаешься: я похожа на героиню только тем, что живу в глухой деревне и разливаю чай как Кларисса Гарлов.

Ты говоришь, что тебе некому будет нынешней зимою передавать своих сатирических наблюдений, – а на что ж переписка наша? Пиши ко мне всё, что ты заметишь; повторяю тебе, что я вовсе не отказалась от света, что всё, касающееся до него, для меня занимательно. В доказательство того, прошу тебя написать, кому отсутствие мое кажется так заметным? Не любезному ли нашему говоруну Алексею Р-? – Я уверена, что угадала... Уши мои были всегда к его услугам, а ему только и надобно.

Я познакомилась с семейством\*\*\*. Отец балагур и хлебосол; мать толстая, веселая баба, большая охотница до виста; дочка стройная меланхолическая девушка лет семнадцати, воспитанная на романах и на чистом воздухе. Она целый день в саду или в поле с книгой в руках, окружена дворными собаками, говорит о погоде нараспев и с чувством потчует варением. У нее нашла я целый шкаф, наполненный старинными романами. Я намерена всё это прочесть и начала Ричардсоном. Надобно жить в деревне, чтоб иметь возможность прочитать хваленую Клариссу. Я благословясь начала с предисловия переводчика и, увидя в нем уверение, что хотя первые 6 частей скучненьки, зато последние 6 в полной мере вознаграждают терпение читателя, храбро принялась за дело. Читаю том, другой, третий, – наконец добралась до шестого, – скучно, мочи нет. Ну, думала я, теперь буду я награждена за труд. Что же? Читаю смерть Клариссы, смерть Ловласа, и конец. Каждый

\*Евг. Онегин, гл. VII.

том заключал в себе две части и я не заметила перехода от шести скучных к шести занимательным.<sup>52</sup>

Чтение Ричардсона дало мне повод к размышлениям. Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внучек. Что есть общего между Ловласом и Адольфом? между тем роль женщин не изменяется. Кларисса, за исключением церемонных приседаний, всё же походит на героиню новейших романов. Потому ли, что способы нравиться в мужчине зависят от моды, от минутного мнения... а в женщинах – они основаны на чувстве и природе, которые вечны.

Ты видишь: я с тобою болтлива по обыкновенному – не будь же и ты скупа на заочные разговоры. Пиши ко мне как можно чаще и как можно более – ты не можешь вообразить, что значит ожидание почтового дня в деревне. Ожидание бала не может с ним равняться.

#### 4. Ответ Саши.

Ты ошиблась, милая Лиза. Чтобы смирить твое самолюбие, объявляю, что Ровсе не замечает твоего отсутствия. Он привязался к леди Пелам, приезжей англичанке, и от нее не отходит. На его речи отвечает она видом невинного удивления и маленьким восклицанием *oho!*.. а он в восхищении. Знай: спрашивал меня о тебе, всем сердцем жалеет о тебе твой постоянный admirateur Владимир\*\*. Довольна ли ты? думаю, очень довольна, и по своему обыкновению осмеливаюсь предполагать, что и без меня ты догадалась. Шутки в сторону, \*\* очень занят тобою. На твоём месте я бы завела его далеко. Что ж, он прекрасный жених... Зачем не выдти за него, – ты жила бы на Английской набережной, по субботам имела бы вечера, и всякое утро заезжала бы за мною. – Полно тебе дурачиться, мой ангел, приезжай к нам и выходи за \*\*.

Третьего дня был бал у К\*\* Народу было пропасть. Танцевали до пяти часов. – К.В. была одета очень просто; белое креповое платьице, даже без гирлянды, а на голове и шее на полмиллиона бриллиантов: только! Z по своему обыкновению была одета уморительно. Откуда берет она свои наряды? На платье ее были нашиты не цветы, а какие-то сушеные грибы. Не ты ли сй, мой ангел, прислала их из деревни? Владимир\*\* не танцевал. Он едет в отпуск. – С. приехали (вероятно первые), просидели всю ночь не танцуя и уехали последние. Старшая, кажется, была нарумянена – пора... Бал очень удался. Мужчины были недовольны ужином, но ведь они вечно должны быть чем-нибудь да недовольны. Мне было очень весело, хоть я и танцевала котильон с несносным дипломатом Ст-, который к природной своей глупости присоединил еще рассеянность, вывезенную им из Мадрита.

Благодарю тебя, душа моя, за отчет об Ричардсоне. Теперь я имею об нем понятие. Прочитать его не надеюсь – с моим нетерпением; я и в Вальтер Скотте нахожу лишние страницы.

Кстати: кажется, роман Елены Н. и графа Л. кончается – по крайней мере он так приуныл, а она так важничает, что, вероятно, свадьба решена. – Прости, моя прелесть, довольна ли ты моею сегодняшней болтовней? <...>

#### 8. Владимир \*\* – своему другу.

Сделай одолжение, распусти слух, что я при смерти болен, я намерен просрочить и хочу соблюсти всевозможную благопристойность. Вот уж две недели как я живу в деревне и не вижу, как время летит. Отдыхаю от Петербургской жизни, ко-

торая мне ужасно надоела. Не любить деревни простительно монастырке, только что выпущенной из клетки, да 18-летнему камер-юнкеру. Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет. Порядочный человек по необходимости проходит через переднюю и редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в своем кабинете. — Тем и я кончу. Выйду в отставку, женюсь и уеду в свою саратовскую деревню. — Звание помещика есть та же служба. Заниматься управлением трех тысяч душ, коих всё благосостояние зависит совершенно от нас, важнее, чем командовать взводом или переписывать дипломатические депеши...

Небрежение, в котором оставляем мы наших крестьян, непростительно. Чем более имеем мы над ними прав, тем более имеем и обязанностей в их отношении. Мы оставляем их на произвол плута приказчика, который их притесняет, а нас обкрадывает. Мы проживаем в долг свои будущие доходы, разоряемся, старость нас застанет в нужде и хлопотах.

Вот причина быстрого упадка нашего дворянства: дед был богат, сын нуждается, внук идет по-миру. Древние фамилии приходят в ничтожество; новые поднимаются и в третьем поколении исчезают опять. Состояния сливаются, и ни одна фамилия не знает своих предков. К чему ведет такой политический материализм? Не знаю. Но пора положить ему преграды.

Я без прискорбья никогда не мог видеть уничтожения наших исторических родов; никто у нас ими не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат. Да какой гордости воспоминаний ожидать от народа, у которого пишут на памятнике: Гражданину Минину и князю Пожарскому. Какой князь Пожарский? Что такое гражданин Минин? Был окольный князь Дмитрий Михайлович Пожарский и мещанин Козьма Минич Сухорукий, выборный человек от всего государства. Но отечество забыло даже настоящие имена своих избавителей. Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ!

Аристократия чиновная не заменит аристократии родовой. Семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа. Но каковы семейственные воспоминания у детей коллежского асессора?

Говоря в пользу аристократии, я не корчу английского лорда; мое происхождение, хоть я им и не стыжусь, не дает мне на то никакого права.<sup>53</sup> Но я согласен с Лабрюером: *Affecter le mépris de la naissance est un ridicule dans le parvenu et une lâcheté dans le gentilhomme.* [Подчеркивать пренебрежение к своему происхождению — черта смешная в выскочке и низкая в дворянине].

Всё это надумал я, живучи в чужой деревне, глядя на управление мелкопоместных дворян. Эти господа не служат и сами занимаются управлением своих деревушек, но признаюсь, дай Бог им промотаться как нашему брату. Какая дикость! для них не прошли еще времена Фонвизина. Между ими процветают еще Простаковы и Скотинины!<...>

Scorn not the sonnet, critic.  
Wordsworth.

## Сонет

Суровый Дант не презирал сонета;  
В нем жар любви Петрарка изливал;  
Игру его любил творец Макбета;  
Им скорбну мысль Камознс облекал.

И в наши дни пленяет он поэта:  
Вордсворт его орудием избрал,  
Когда вдали от суетного света  
Природы он рисует идеал.

Под сенью гор Тавриды отдаленной  
Певец Литвы в размер его стесненный  
Свои мечты мгновенно заключал.

У нас его ещё не знали девы,  
Как для него уж Дельвиг забывал  
Гексаметра священные напевы.<sup>54</sup>  
1830

## К вельможе

(Москва)

От северных оков освобождая мир,  
Лишь только на поля, струясь, дохнет зефир,  
Лишь только первая позеленет липа,  
К тебе, приветливый потомок Аристипша,  
К тебе явлюся я; увижу сей дворец,  
Где циркуль зодчего, палитра и резец  
Ученой прихоти твоей повиновались  
И вдохновенные в волшебстве состязались.

Ты понял жизни цель: счастливый человек,  
Для жизни ты живешь. Свой долгий ясный век  
Еще ты смолоду умно разнообразил,  
Искал возможного, умеренно проказил;  
Чредою шли к тебе забавы и чины.  
Посланник молодой увенчанной жены,  
Явился ты в Ферней – и циник поседельй,  
Умов и моды вождь пронырливый и смелый,  
Свое владычество на Севере любя,  
Могильным голосом приветствовал тебя.  
С тобой веселости он расточал избыток,  
Ты лезть его вкусил, земных богов напиток.  
С Фернеем распротысь, увидел ты Версаль.  
Пророческих очей не простирая вдаль,

Там ликовало всё. Армида молодая,  
 К веселью, роскоши знак первый подавая,  
 Не ведая, чему судьбой обречена,  
 Резвилась, ветренным двором окружена.  
 Ты помнишь Трианон и шумные забавы?  
 Но ты не изнемог от сладкой их отравы;  
 Ученье делалось на время твой кумир:  
 Уединялся ты. За твой суровый пир  
 То читатель промысла, то скептик, то безбожник,  
 Садился Дидерот на шаткий свой треножник,  
 Бросал парик, глаза в восторге закрывал  
 И проповедывал. И скромно ты внимал  
 За чашей медленной афею иль деисту,  
 Как любопытный скиф афинскому софисту.

Но Лондон звал твое внимание. Твой взор  
 Прилежно разобрал сей двойственный собор:  
 Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый,  
 Пружины смелые гражданственности новой.

Скучая, может быть, над Темзою скупой,  
 Ты думал дале плыть. Услужливый, живой,  
 Подобный своему чудесному герою,  
 Веселый Бомарше блеснул перед тобою.  
 Он угадал тебя: в пленительных словах  
 Он стал рассказывать о ножках, о глазах,  
 О неге той страны, где небо вечно ясно,  
 Где жизнь ленивая проходит сладострастно,  
 Как пылкий отрока восторгов полный сон,  
 Где жены вечером выходят на балкон,  
 Глядят и, не страшась ревнивого испанца,  
 С улыбкой слушают и манят иностранца.  
 И ты, встревоженный, в Севиллу полетел.  
 Благословенный край, пленительный предел!  
 Там лавры зыблются, там апельсины зреют...  
 О, расскажи ж ты мне, как жены там умеют  
 С любовью набожность умильно сочетать,  
 Из-под мантильи знак условный подавать;  
 Скажи, как падает письмо из-за решетки,  
 Как златом усыплен надзор угрюмой сетки;  
 Скажи, как в двадцать лет любовник под окном  
 Трепещет и кипит, окутанный плащом.

Всё изменилось. Ты видел вихорь бури,  
 Падение всего, союз ума и фурий,  
 Свободой грозною воздвигнутый закон,  
 Под гильотиною Версаль и Трианон  
 И мрачным ужасом смененные забавы.  
 Преобразился мир при громах новой славы.  
 Давно Ферней умолк. Приятель твой Вольтер,  
 Превратности судеб разительный пример,

Не успокоившись и в гробовом жилище,  
 Дольше странствует с кладбища на кладбище.  
 Барон д'Ольбах, Морле, Гальяни, Дидерот,  
 Энциклопедии скептический причет,  
 И колкий Бомарше, и твой безносый Касти,  
 Все, все уже прошли. Их мнения, толки, страсти  
 Забыты для других. Смотри: вокруг тебя  
 Всё новое кипит, бывшее истребя.  
 Свидетелями быв вчерашнего паденья,  
 Едва опомнились молодые поколения.  
 Жестоких опытов собирая поздний плод,  
 Они торопятся с расходом свесть приход.  
 Им некогда шутить, обедать у Темиры,  
 Иль спорить о стихах. Звук новой, чудной лиры,  
 Звук лиры Байрона развлечь едва их мог.

Один всё тот же ты. Ступив за твой порог,  
 Я вдруг переношусь во дни Екатерины.  
 Книгохранилище, кумиры, и картины,  
 И стройные сады свидетельствуют мне,  
 Что благосклонствуешь ты музам в тишине,  
 Что ими в праздности ты дышишь благородной.  
 Я слушаю тебя: твой разговор свободный  
 Исполнен юности. Влиянье красоты  
 Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты  
 И блеск Алябьевой и прелесть Гончаровой.  
 Беспечно окружась Корреджем, Кановой,  
 Ты, не участвуя в волнениях мирских,  
 Порой насмешливо в окно глядишь на них  
 И видишь оборот во всем кругообразный.

Так, вихорь дел забыв для мух и неги праздной,  
 В тени порфирных бань и мраморных палат,  
 Вельможи римские встречали свой закат.  
 И к ним издалека то воин, то оратор,  
 То консул молодой, то сумрачный диктатор  
 Являлись день-другой роскошно отдохнуть,  
 Вздохнуть о пристани и вновь пуститься в путь.<sup>55</sup>  
 1830

## Поэту

Поэт! не дорожи любовью народной.  
 Восторженных похвал пройдет минутный шум;  
 Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,  
 Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.  
 Ты царь: живи один. Дорогою свободной  
 Иди, куда влечёт тебя свободный ум,



Усовершенствова плоды любимых дум,  
Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;  
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.  
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Доволен? Так пускай толпа его бранит  
И плещет на алтарь, где твой огонь горит,  
И в детской резвости колеблет твой треножник.<sup>56</sup>  
1830

Я здесь, Инезилья,  
Я здесь под окном.  
Объята Севилья  
И мраком и сном.

Исполнен отвагой,  
Окутан плащом,  
С гитарой и шпагой  
Я здесь под окном.

Ты спишь ли? Гитарой  
Тебя разбужу.  
Проснется ли старый,  
Мечом уложу.

Шелковые петли  
К окошку привесь...  
Что медлишь?... Уж нет ли  
Соперника здесь?...

Я здесь, Инезилья,  
Я здесь под окном.  
Объята Севилья  
И мраком и сном.<sup>57</sup>  
1830

## Из Barry Cornwall

Here's a health to thee, Mary.

Пью за здравие Мери,  
Милой Мери моей.  
Тихо запер я двери  
И один без гостей  
Пью за здравие Мери.

Можно краше быть Мери,  
Краше Мери моей,  
Этой маленькой пери;  
Но нельзя быть милей  
Резвой, ласковой Мери.

Будь же счастлива, Мери,  
Солнце жизни моей!  
Ни тоски, ни потери,  
Ни ненастных дней  
Пусть не ведает Мери.<sup>58</sup>  
1830

## Скупой рыцарь

(сцены из ченстоновой траги-комедии *The Covetous Knight*)<sup>59</sup>

Сцена I

(В башне.)

Альбер.

Во что бы то ни стало, на турнире  
Явлюсь я. Покажи мне шлем, Иван

(Иван подает ему шлем.)

Пробит насквозь, испорчен. Невозможно  
Его надеть. Достать мне надо новый.  
Какой удар! проклятый граф Делорж!

Иван.

И вы ему порядком отплатили;  
Как из стремян вы вышибли его,  
Он сутки замертво лежал – и вряд ли  
Оправился.

Альбер.

А всё ж он не в убытке;  
Его нагрудник цел венецианский,  
А грудь своя: гроша ему не стоит;  
Другой себе не станет покупать.  
Зачем с него не снял я шлема тут же!  
А снял бы я, когда б не было стыдно  
Мне дам и герцога. Проклятый граф!  
Он лучше бы мне голову пробил.  
И платье нужно мне. В последний раз  
Все рыцари сидели тут в атласе  
Да бархате; я в латах был один  
За герцогским столом. Отговорился  
Я тем, что на турнир попал случайно.  
А нынче что скажу? О, бедность, бедность!  
Как унижает сердце она!  
Когда Делорж копьем своим тяжелым  
Пробил мне шлем и мимо проскакал,  
А я с открытой головой пришпорил  
Эмира моего, помчался вихрем  
И бросил графа на двадцать шагов,  
Как маленького пажа; как все дамы  
Привстали с мест, когда сама Клотильда,  
Закрыв лицо, невольно закричала,  
И славили герольды мой удар, —  
Тогда никто не думал о причине  
И храбрости моей и силы дивной!  
Взбесился я за поврежденный шлем;  
Геройству что виною было? — скупость. —  
Да! заразиться здесь не трудно сю  
Под кровлею одной с моим отцом.  
Что бедный мой Эмир?

Иван.

Он всё хромает.  
Вам выехать на нем еще нельзя.

Альбер.

Ну, делать нечего: куплю Гнедого.  
Недорого и просят за него.

Иван.

Недорого, да денег нет у нас.

Альбер.

Что ж говорит бездельник Соломон?

Иван.

Он говорит, что более не может  
В займы давать вам денег без заклада.

Альбер.

Заклад! а где мне взять заклада, дьявол!

Иван.

Я сказывал.

Альбер.

Что ж он?

Иван.

Кряхтит да жметса.

Альбер.

Да ты б ему сказал, что мой отец  
Богат и сам как жид, что рано ль, поздно ль  
Все му наследую.

Иван.

Я говорил.

Альбер.

Что ж?

Иван.

Жметса да кряхтит.

Альбер.

Какое горе!

Иван.

Он сам хотел придти.

Альбер.

Ну, слава Богу.

Без выкупа не выпущу его. *(Стучат в дверь)*  
Кто там? *(Входит жид.)*

Жид.

Слуга ваш низкий.

Альбер.

А, приятель!

Проклятый жид, почтенный Соломон,  
Пожалуй-ка сюда: так ты, я слышу,  
Не веришь в долг.

Жид.

Ах, милостивый рыцарь,  
Клянусь вам: рад бы... право не могу.  
Где денег взять? весь разорился я,  
Всё рыцарям усердно помогая.  
Никто не платит. Вас хотел просить,  
Не можете ль хоть часть отдать...

Альбер.

Разбойник!

Да если б у меня водились деньги,  
С тобою стал ли б я возиться? Полно,  
Не будь упрям, мой милый Соломон;  
Давай червонцы. Высыпи мне сотню,  
Пока тебя не обыскали.

Жид.

Сотню!

Когда б имел я сто червонцев!

Альбер.

Слушай:

Не стыдно ли тебе своих друзей  
Не выручать?

Жид.

Клянусь вам...

Альбер.

Полно, полно.

Ты требуешь заклада? что за вздор!  
Что дам тебе в заклад? свиную кожу?  
Когда б я мог что заложить, давно  
Уж продал бы. Иль рыцарского слова  
Тебе, собака, мало?

Жид.

Ваше слово,

Пока вы живы, много, много значит.  
Все сундуки фламандских богачей

Как талисман оно вам отопрет.  
 Но если вы его передадите  
 Мне, бедному еврею, а меж тем  
 Умрете (Боже сохрани), тогда  
 В моих руках оно подобно будет  
 Ключу от брошенной шкатулки в море.

Альбер.

Ужель отец меня переживет?

Жид.

Как знать? дни наши сочтены не нами;  
 Цвел юноша вчер, а нынче умер,  
 И вот его четыре старика  
 Несут на сторбленных плечах в могилу.  
 Барон здоров. Бог даст – лет десять, двадцать  
 И двадцать пять и тридцать проживет он.

Альбер.

Ты врешь, еврей: да через тридцать лет  
 Мне стукнет пятьдесят, тогда и деньги  
 На что мне пригодятся?

Жид.

Деньги? – деньги  
 Всегда, во всякий возраст нам пригодны;  
 Но юноша в них ищет слуг проворных  
 И не жалея шлет туда, сюда.  
 Старик же видит в них друзей надежных  
 И бережет их как зеницу ока.

Альбер.

О! мой отец не слуг и не друзей  
 В них видит, а господ; и сам им служит  
 И как же служит? как алжирский раб,  
 Как пес цепной. В нетопленной конуре  
 Живет, пьет воду, ест сухие корки,  
 Всю ночь не спит, всё бегаёт да лаёт, –  
 А золото спокойно в сундуках  
 Лежит себе. Молчи! когда-нибудь  
 Оно послужит мне, лежать забудет.

Жид.

Да, на бароновых похоронах  
 Прольется больше денег, нежели слез.  
 Пошли вам Бог скорей наследство.

Альбер.

Амен!

Жид.

А можно б...

Альбер.

Что?

Жид.

Так – думал я, что средство  
Такое есть...

Альбер.

Какое средство?

Жид.

Так –  
Есть у меня знакомый старичок,  
Еврей, аптекарь бедный...

Альбер.

Ростовщик,  
Такой же как и ты, иль почестнее?

Жид.

Нет, рыцарь. Товий торг ведет иной –  
Он составляет капли... право, чудно,  
Как действуют они.

Альбер.

А что мне в них?

Жид.

В стакан воды подлить... трех капель будет,  
Ни вкуса в них, ни цвета не заметно;  
А человек без рези в животе,  
Без тошноты, без боли умирает.

Альбер.

Твой старичок торгует ядом.

Жид.

Да –

И ядом.

Альбер.

Что ж? займы на место денег  
Ты мне предложишь склянок двести яду,  
За склянку по червонцу. Так ли, что ли?

Жид.

Смеяться вам угодно надо мною –  
Нет; я хотел... быть может, вы... я думал,  
Что уж барону время умереть.

Альбер.

Как! отравить отца! и смел ты сыну...  
Иван! держи его. И смел ты мне!..  
Да знаешь ли, жидовская душа,  
Собака, змей! что я тебя сейчас же  
На воротах повешу.

Жид.

Виноват!

Простите: я шутил.

Альбер.

Иван, веревку.

Жид.

Я... я шутил. Я деньги вам принес.

Альбер.

Вон, пес! (*Жид уходит.*)

Вот до чего меня доводит  
Отца родного скупость! Жид мне смел  
Что предложить! Дай мне стакан вина,  
Я весь дрожу... Иван, однако ж деньги  
Мне нужны. Сбегай за жидом проклятым.  
Возьми его червонцы. Да сюда  
Мне принеси чернильницу. Я плугу  
Расписку дам. Да не вводи сюда  
Иуду этого... Иль нет, постой,  
Его червонцы будут пахнуть ядом,  
Как сребренники пращура его...  
Я спрашивал вина.

Иван.

У нас вина –

Ни капли нет.



Альбер.

А то, что мне прислал  
В подарок из Испании Ремон?

Иван.

Вечор я снес последнюю бутылку  
Больному кузнецу.

Альбер.

Да, помню, знаю...  
Так дай воды. Проклятое житье!  
Нет, решено – пойду искать управы  
У герцога: пускай отца заставят  
Меня держать как сына, не как мышь,  
Рожденную в подполье.

Сцена II

*(Подвал.)*

Барон.

Как молодой повеса ждет свиданья  
С какой-нибудь развратницей лукавой  
Иль дурой, им обманутой, так я  
Весь день минуты ждал, когда сойду  
В подвал мой тайный, к верным сундукам.  
Счастливей день! могу сегодня я  
В шестой сундук (в сундук еще неполный)  
Горсть золота накопленного всыпать.  
Не много, кажется, но понемногу  
Сокровища растут. Читал я где-то,  
Что царь однажды воинам своим  
Велел снести земли по горсти в кучу.  
И гордый холм возвысился – и царь  
Мог с вышины с весельем озирать  
И дол, покрытый белыми шатрами,  
И море, где бежали корабли.  
Так я, по горсти бедной принося  
Привычну дань мою сюда в подвал,  
Вознес мой холм – и с высоты его  
Могу взирать на всё, что мне подвластно.  
Что не подвластно мне? как некий демон  
Отселе править миром я могу;  
Лишь захочу – воздвигнутся чертоги;  
В великолепные мои сады  
Сбегутся нимфы резвою толпою;



*(Отпирает сундук.)*

Вот мое блаженство!

*(Всыпает деньги.)*

Ступайте, полно вам по свету рыскать,  
 Служа страстям и нуждам человека.  
 Усните здесь сном и покоя,  
 Как боги спят в глубоких небесах...  
 Хочу себе сегодня пир устроить:  
 Зажгу свечу пред каждым сундуком,  
 И все их отопру, и стану сам  
 Среди них глядеть на блестящие груды.

*(Зажигает свечи и отпирает сундуки один за другим.)*

Я царствую!.. Какой волшебный блеск!  
 Послушна мне, сильна моя держава;  
 В ней счастье, в ней честь моя и слава!  
 Я царствую... но кто вослед за мной  
 Приимет власть над нею? Мой наследник!  
 Безумец, расточитель молодой,  
 Развратников разгульных собеседник!  
 Едва умру, он, он! сойдет сюда  
 Под эти мирные, немые своды  
 С толпой ласкателей, придворных жадных.  
 Украв ключи у трупа моего,  
 Он сундуки со смехом отопрет.  
 И потекут сокровища мои  
 В атласные дыравые карманы.  
 Он разобьет священные сосуды,  
 Он грязь елеем царским напоит –  
 Он расточит... А по какому праву?  
 Мне разве даром это всё досталось,  
 Или шутя, как игроку, который  
 Гремит костями да груды загребает?  
 Кто знает, сколько горьких воздержаний,  
 Обузданных страстей, тяжелых дум,  
 Дневных забот, ночей бессонных мне  
 Всё это стоило? Иль скажет сын,  
 Что сердце у меня обросло мохом,  
 Что я не знал желаний, что меня  
 И совесть никогда не грызла, совесть,  
 Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть,  
 Незванный гость, докучный собеседник,  
 Взаимодавец грубый. эта ведьма,  
 От коей меркнет месяц и могилы  
 Смущаются и мертвых высылают?..  
 Нет, выстрадай сперва себе богатство,  
 А там посмотрим, станет ли несчастный

То расточать, что кровью приобрел.  
 О, если б мог от взоров недостойных  
 Я скрыть подвал! о, если б из могилы  
 Придти я мог, сторожевою тенью  
 Сидеть на сундуке и от живых  
 Сокровища мои хранить как ныне!..

### Сцена III

*(Во дворце.)*

Альбер.

Поверьте, государь, терпел я долго  
 Стыд горькой бедности. Когда б не крайность,  
 Вы б жалобы мои не услышали.

Герцог.

Я верю, верю: благородный рыцарь,  
 Таков как вы, отца не обвинит  
 Без крайности. Таких развратных мало...  
 Спокойны будьте: вашего отца  
 Усовещу наедине, без шума.  
 Я жду его. Давно мы не видались.  
 Он был друг деду моему. Я помню,  
 Когда я был еще ребенком, он  
 Меня сажал на своего коня  
 И покрывал своим тяжелым шлемом  
 Как будто колоколом. — *(Смотрит в окно.)*  
 Это кто?

Не он ли?

Альбер.

Так, он, государь.

Герцог.

Подите ж

В ту комнату. Я кликну вас.

*(Альбер уходит; входит барон.)*

Барон,

Я рад вас видеть бодрым и здоровым.

Барон.

Я счастлив, государь, что в силах был  
 По приказанию вашему явиться.

Герцог.

Давно, барон, давно расстались мы.  
Вы помните меня?

Барон.

Я, государь?

Я как теперь вас вижу. О, вы были  
Ребенок резвый. – Мне покойный герцог  
Говаривал: Филипп (он звал меня  
Всегда Филиппом), что ты скажешь? а?  
Лет через двадцать, право, ты да я,  
Мы будем глупы перед этим малым...  
Пред вами, то есть...

Герцог.

Мы теперь знакомство  
Возобновим. Вы двор забыли мой.

Барон.

Стар, государь, я нынче: при дворе  
Что делать мне? Вы молоды; вам любви  
Турниры, праздники. А я на них  
Уж не гожусь. Бог даст войну, так я  
Готов, крихтя, взлезть снова на коня;  
Еще достанет силы старый меч  
За вас рукой дрожащей обнажить.

Герцог.

Барон, усердье ваше нам известно;  
Вы деду были другом; мой отец  
Вас уважал. И я всегда считал  
Вас верным, храбрым рыцарем – но сядем.  
У вас, барон, есть дети?

Барон.

Сын один.

Герцог.

Зачем его я при себе не вижу?  
Вам двор наскучил, но ему прилично  
В его летах и званьи быть при нас.

Барон.

Мой сын не любит шумной, светской жизни;  
Он дикого и сумрачного нрава –

Вкруг замка по лесам он вечно бродит  
Как молодой олень.

Герцог.

Нехорошо  
Ему дичиться. Мы тотчас приучим  
Его к весельям, к балам и турнирам.  
Пришлите мне его; назначьте сыну  
Приличное по званью содержанье...  
Вы хмуритесь, устали вы с дороги,  
Быть может?

Барон.

Государь, я не устал;  
Но вы меня смутили. Перед вами  
Я б не хотел сознаться, но меня  
Вы принуждаете сказать о сыне  
То, что желал от вас бы утаить.  
Он, государь, к несчастью, недостоин  
Ни милостей, ни вашего вниманья.  
Он молодость свою проводит в буйстве,  
В пороках низких...

Герцог.

Это потому,  
Барон, что он один. Уединенье  
И праздность губят молодых людей.  
Пришлите к нам его: он позабудет  
Привычки, зарожденные в глуши.

Барон.

Простите мне, но право, государь,  
Я согласиться не могу на это...

Герцог.

Но почему ж?

Барон.

Увольте старика...

Герцог.

Я требую: откройте мне причину  
Отказа вашего.

Барон.

На сына я  
Сердит.

Герцог.

За что?

Барон.

За злое престушенье.

Герцог.

А в чем оно, скажите, состоит?

Барон.

Увольте, герцог...

Герцог.

Это очень странно,  
Или вам стыдно за него?

Барон.

Да... стыдно...

Герцог.

Но что же сделал он?

Барон.

Он... он меня

Хотел убить.

Герцог.

Убить! так я суду  
Его предам, как черного злодея.

Барон.

Доказывать не стану я, хоть знаю,  
Что точно смерти жаждет он моей,  
Хоть знаю то, что покушался он  
Меня...

Герцог.

Что?

Барон.

Обокрасть.

*(Альбер бросается в комнату.)*

Альбер.

Барон, вы лжете.

Герцог (*сыну*).

Как смели вы?..

Барон.

Ты здесь! ты, ты мне смел!..

Ты мог отцу такое слово молвить!..

Я лгу! и перед нашим государем!..

Мне, мне... иль уж не рыцарь я?

Альбер.

Вы лжец.

Барон.

И гром еще не грянул, Боже правый!

Так подыми ж, и меч нас рассуди!

*(Бросает перчатку, сын поспешно ее подымает.)*

Альбер.

Благодарю. Вот первый дар отца.

Герцог.

Что видел я? что было предо мною?

Сын принял вызов старого отца!

В какие дни надел я на себя

Цепь герцогов! Молчите: ты, безумец,

И ты, тигренок! полно. (*Сыну.*) Бросьте это;

Отдайте мне перчатку эту (*отымает ее*).

Альбер (*a parte*).

Жаль.

Герцог.

Так и впился в нее когтями! – изверг!

Подите: на глаза мои не смейте

Являться до тех пор, пока я сам

Не призову вас. (*Альбер выходит.*)

Вы, старик несчастный,

Не стыдно ль вам...

Барон.

Простите, государь...

Стоять я не могу... мои колени



Слабеют.... душно!.. душно!.. Где ключи?  
Ключи, ключи мои!..

Герцог.

Он умер. Боже!  
Ужасный век, ужасные сердца!  
1830

### Пир во время чумы

(Отрывок из вильсоновой трагедии: *The City of the Plague.*)<sup>60</sup>

(Улица. Накрытый стол. Несколько пирующих мужчин и женщин.)

Молодой человек.

Почтенный председатель! я напомним  
О человеке, очень нам знакомом,  
О том, чьи шутки, повести смешные,  
Ответы острые и замечанья,  
Столь едкие в их важности забавной,  
Застольную беседу оживляли  
И разгоняли мрак, который ныне  
Зараза, гостя наша, насылает  
На самые блестящие умы.  
Тому два дня наш общий хохот славил  
Его рассказы; невозможно быть,  
Чтоб мы в своем веселом пиrowаньи  
Забыли Джаксона. Его здесь кресла  
Стоят пустые, будто ожидая  
Весельчака – но он ушел уже  
В холодные подземные жилища...  
Хотя красноречивейший язык  
Не умолкал еще во прахе гроба,  
Но много нас еще живых, и нам  
Причины нет печалиться. Итак,  
Я предлагаю выпить в его память  
С веселым звоном рюмок, с восклицаньем,  
Как будто б был он жив.

Председатель.

Он выбыл первый  
Из круга нашего. Пускай в молчаньи  
Мы выпьем в честь его.

Молодой человек.

Да будет так.

(Все пьют молча.)

Председатель.

Твой голос, милая, выводит звуки  
Родимых песен с диким совершенством;  
Спой, Мери, нам уныло и протяжно,  
Чтоб мы потом к веселью обратились  
Безумнее, как тот, кто от земли  
Был отлучен каким-нибудь виденьем.

Мери (поет).

Было время, процветала  
В мире наша сторона;  
В воскресение бывала  
Церковь Божия полна;  
Наших деток в шумной школе  
Раздавались голоса,  
И сверкали в светлом поле  
Серп и быстрая коса.

Ныне церковь опустела;  
Школа глухо заперта;  
Нива праздно перезрела;  
Роцца темная пуста;  
И селенье, как жилище  
Погорелое, стоит, —  
Тихо всё. Одно кладбище  
Не пустеет, не молчит.

Поминутно мертвых носят,  
И стенания живых  
Боязливо Бога просят  
Упокоить души их.  
Поминутно места надо,  
И могилы меж собой,  
Как испуганное стадо,  
Жмутся тесной чередой.

Если ранняя могила  
Суждена моей весне —  
Ты, кого я так любила,  
Чья любовь отрада мне, —  
Я молю: не приближайся  
К телу Дженни ты своей;  
Уст умерших не касайся,  
Следуй издали за ней.

И потом оставь селенье,  
 Уходи куда-нибудь,  
 Где б ты мог души мученье  
 Усладить и отдохнуть.  
 И когда зараза минет,  
 Посети мой бедный прах;  
 А Эдмонда не покинет  
 Дженни даже в небесах.

#### Председатель.

Благодарим, задумчивая Мери,  
 Благодарим за жалобную песню.  
 В дни прежние чума такая ж видно  
 Холмы и доли ваши посетила,  
 И раздавались жалкие стенанья  
 По берегам потоков и ручьев,  
 Бегущих ныне весело и мирно  
 Сквозь дикий рай твоей земли родной;  
 И мрачный год, в который пало столько  
 Отважных, добрых и прекрасных жертв,  
 Едва оставил память о себе  
 В какой-нибудь простой пастушьей песне,  
 Унылой и приятной... Нет, ничто  
 Так не печалит нас среди веселий,  
 Как томный, сердцем повторенный звук.

#### Мери.

О, если б никогда я не певала  
 Вне хижины родителей моих!  
 Они свою любили слушать Мери;  
 Самой себе я, кажется, внимаю,  
 Поющей у родимого порога. –  
 Мой голос слаще был в то время; он  
 Был голосом невинности.

#### Луиза.

Не в моде  
 Теперь такие песни. Но всё ж есть  
 Еще простые души: рады таять  
 От женских слез и слепо верят им.  
 Она уверена, что взор слезливый  
 Ее неотразим – а если б то же  
 О смехе думала своем, то верно  
 Всё б улыбалась. Вальсингам хвалил  
 Крикливых северных красавиц: вот  
 Она и расстоналась. Ненавижу  
 Волос шотландских этих желтину.

Председатель.

Послушайте: я слышу стук колес.

*(Едет телега, наполненная мертвыми телами. Негр управляет ею.)*

Ага! Луизе дурно; в ней, я думал,  
По языку судя, мужское сердце.  
Но так-то – нежного слабей жестокий,  
И страх живет в душе, страстями томимой.  
Брось, Мери, ей воды в лицо. Ей лучше.

Мери.

Сестра моей печали и позора,  
Приляг на грудь мою.

Луиза *(приходя в чувство)*.

Ужасный демон  
Приснился мне: весь черный, белоглазый...  
Он звал меня в свою тележку. В ней  
Лежали мертвые – и лепетали  
Ужасную, неведомую речь...  
Скажите мне: во сне ли это было?  
Проехала ль телега?

Молодой человек.

Ну, Луиза,  
Развеселись – хоть улица вся наша  
Безмолвное убежище от смерти,  
Приют пиров ничем невозмутимых,  
Но знаешь, эта черная телега  
Имеет право всюду разезжать.  
Мы пропускать ее должны. Послушай  
Ты, Вальсингам: для пресечения споров  
И следствий женских обмороков, спой  
Нам песню, вольную, живую песню,  
Не грустию шотландской вдохновенну,  
А буйную, вакхическую песнь,  
Рожденную за чашею кипящей.

Председатель.

Такой не знаю, но спою вам гимн  
Я в честь чумы, – я написал его  
Прошедшей ночью, как растались мы.  
Мне странная нашла охота к рифмам  
Впервые в жизни. Слушайте ж меня:  
Охрипый голос мой приличен песне.

## Многие.

Гимн в честь чумы! послушаем его!  
Гимн в честь чумы! прекрасно! bravo! bravo!

Председатель (*поет*).

Когда могущая Зима,  
Как бодрый вождь, ведет сама  
На нас косматые дружины  
Своих морозов и снегов, —  
Навстречу ей трещат каминны,  
И весел зимний жар пиров.

\*

Царица грозная, Чума  
Теперь идет на нас сама  
И льстится жатвою богатой;  
И к нам в окошко днем и в ночь  
Стучит могильною лопатой.  
Что делать нам? и чем помочь?

\*

Как от проказницы Зимы,  
Запремся также от Чумы,  
Зажжем огни, нальем бокалы,  
Утопим весело умы  
И, заварив пиры да балы,  
Восславим царствие Чумы.

\*

Есть упоение в бою,  
И бездны мрачной на краю,  
И в разъяренном океане,  
Средь грозных волн и бурной тьмы,  
И в аравийском урагане,  
И в дуновении Чумы.

\*

Всё, всё, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы наслажденья —  
Бессмертья, может быть, залог,  
И счастлив тот, кто средь волненья  
Их обретать и ведать мог.

\*

Итак, – хвала тебе, Чума,  
 Нам не страшна могилы тьма,  
 Нас не смутит твое призыванье.  
 Бокалы пеним дружно мы,  
 И девы-розы пьем дыханье, –  
 Быть может... полное Чумы.

*(Входит старый священник.)*

Священник.

Безбожный пир, безбожные безумцы!  
 Вы пиршеством и песнями разврата  
 Ругаетесь над мрачной тишиной,  
 Повсюду смертию распространенной!  
 Среди ужаса плачевных похорон,  
 Среди бледных лиц молюсь я на кладбище,  
 А ваши ненавистные восторги  
 Смущают тишину гробов – и землю  
 Над мертвыми телами потрясают.  
 Когда бы стариков и жен моленья  
 Не освятили общей, смертной ямы, –  
 Подумать мог бы я, что нынче бесы  
 Погибший дух безбожника терзают  
 И в тьму кромешную тащат со смехом.

Несколько голосов.

Он мастерски об аде говорит.  
 Ступай, старик! ступай своей дорогой.

Священник.

Я заклинаю вас святою кровью  
 Спасителя, распятого за нас:  
 Прервите пир чудовищный, когда  
 Желаете вы встретить в небесах  
 Утраченных возлюбленные души.  
 Ступайте по своим домам.

Председатель.

Домá

У нас печальны – юность любит радость.

Священник.

Ты ль это, Вальсингам? ты ль самый тот,  
 Кто три тому недели на коленах,  
 Труп матери, рыдая, обнимал  
 И с воплем бился над ее могилой?  
 Иль думаешь, она теперь не плачет,

Не плачет горько в самых небесах,  
 Взирая на пирующего сына,  
 В пиру разврата, слыша голос твой,  
 Поющий бешеные песни, между  
 Мольбы святой и тяжких вздыханий?  
 Ступай за мной!

Председатель.

Зачем приходишь ты  
 Меня тревожить? Не могу, не должен  
 Я за тобой идти. Я здесь удержан  
 Отчаяньем, воспоминаньем страшным,  
 Сознаньем беззаконья моего,  
 И ужасом той мертвой пустоты,  
 Которую в моем доме встречаю –  
 И новостью сих бешеных веселий,  
 И благодатным ядом этой чаши,  
 И ласками (прости меня Господь)  
 Погибшего, но милого созданья...  
 Тень матери не вызовет меня  
 Отселе, – поздно, слышу голос твой,  
 Меня зовущий, – признаю усилья  
 Меня спасти... старик, иди же с миром;  
 Но проклят будь, кто за тобой пойдет.

Многие.

Bravo, bravo! достойный председатель!  
 Вот проповедь тебе! пошел! пошел!

Священник.

Матильды чистый дух тебя зовет!

Председатель (*встает*).

Клянись же мне, с поднятой к небесам  
 Увядавшей, бледною рукой – оставить  
 В гробу навек умолкнувшее имя!  
 О, если б от очей ее бессмертных  
 Скрыть это зрелище! Меня когда-то  
 Она считала чистым, гордым, вольным –  
 И знала рай в объятиях моих...  
 Где я? Святое чадо света! Вижу  
 Тебя я там, куда мой падший дух  
 Не достигнет уже...

Женский голос.

Он сумасшедший, –  
 Он бредит о жене похороненной.

Священник.

Пойдем, пойдем...

Председатель.

Отец мой, ради Бога,

Оставь меня.

Священник.

Спаси тебя Господь.

Прости, мой сын. *(Уходит. Пир продолжается.)*

*Председатель остается погружен в глубокую задумчивость.)*

1830

## Гробовщик

<...> Просвещенный читатель ведаёт, что Шекспир и Вальтер Скотт<sup>61</sup> оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностью сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру, и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Адриан Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив. <...>

1830

## Барышня-крестьянка

Во всех ты, Душенька, нарядах хороша.

*Богданович.*

В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и с тех пор он оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время, как он находился в отъезде в поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, устроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околотке, в чем и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить с своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сертук из сукна домашней работы; сам записывал расход, и ничего не читал, кроме Сенатских Ведомостей. Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего, и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его



были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе:

Но на чужой манер хлеб русский не родится,

и несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григорья Ивановича не прибавлялись; он и в деревне находил способ входить в новые долги; со всем тем почитался человеком не глупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в Опекунский Совет: оборот, казавшийся в то время чрезвычайным сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англomanии своего соседа, и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения, в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжениям: «Да-с! – говорил он с лукавой усмешкою, – у меня не то, что у соседа Григорья Ивановича. Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты». Сии и подобные шутки, по усердию соседей, доводимы были до сведения Григорья Ивановича с дополнением и объяснениями. Англoman выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего зюила медведем провинциалом.

Таковы были сношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в \*\*\*университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покаместь барином, отпустив усы на всякий слу- чай.

Алексей был, в самом деле, молодец. Право было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир, и если бы он, вместо того, чтобы рисоваться на коне, провел свою молодость согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотри, как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили согласно, что из него никогда не выдет пуного столоначальника. Барышни поглядывали на него, а иные и заглядывались; но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем: *Акулине Петровне Курочкиной, в Москве, напротив Алексеевского монастыря, в доме медника Савельева, а вас покорнейше прошу доставить письмо сие А.Н.Р.*

Те из моих читателей, которые не жили в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение, поездка в ближний город полагается эпохой в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями; но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное, *особенность характера, самобытность (individualité)*, без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сие да будет сказано не в суд, и не во осуждение, однако ж *nota nostra manet* [наше замечание остается в силе], как пишет один старинный комментатор.

Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Всё это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума.

Но всех более занята была им дочь англомана моего, Лиза (или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович). Отцы друг ко другу не ездили, она Алексея еще не видала, между тем, как молодые соседки только об нем и говорили. Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурьмила себе брови, два раза в год перечитывала «Памелу», получала за то две тысячи рублей, и умирала со скуки в этой варварской России.

За Лизою ходила Настя; она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи; словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии.

«Позвольте мне сегодня пойти в гости», сказала однажды Настя, одевая барышню.

«Изволь; а куда?»

«В Тушилово, к Берестовым. Поварова жена у них именинница, и вчера приходила звать нас отобедать».

«Вот!» сказала Лиза «господа в ссоре, а слуги друг друга угощают».

«А нам какое дело до господ!» возразила Настя; «к тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бранились еще с молодым Берестовым; а старики пускай себе дерутся, коли им это весело».

«Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да расскажи мне хорошенько, каков он собою и что он за человек».

Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась. «Ну, Лизавета Григорьевна», сказала она, входя в комнату, «видела молодого Берестова: нагляделась довольно; целый день были вместе».

– «Как это? Расскажи, расскажи по порядку».

«Извольте-с, пошли мы, я, Анисья Егоровна, Ненила, Дунька...»

– «Хорошо, знаю. Ну потом?»

«Позвольте-с расскажу всё по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были колбинские, захарьевские, приказчица с дочерьми, хлупинские...»

– «Ну! а Берестов?»

«Погодите-с. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее... а дочери и надулись, да мне наплевать на них...»

– «Ах Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!»

«Да как же вы нетерпеливы! Ну вот вышли мы из-за стола... а сидели мы часа три и обед был славный; пирожное блан-манже синее, красное и полосатое... Вот вышли мы из-за стола, и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился».

– «Ну что ж? правда ли, что он так хорош собой?»

«Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку...»

– «Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же? Каков он тебе казался? Печален, задумчив?»

«Что вы? Да этакое бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать».

– «С вами в горелки бегать! Невозможно!»

«Очень возможно! Да что еще выдумал! Поймает, и ну целовать!»

– «Воля твоя, Настя, ты врешь».

«Воля ваша, не вру. Я насылу от него отделалась. Целый день с нами так и провозилась».

– «Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит?»

«Не знаю-с, а на меня так уж слишком смотрел да и на Таню, приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да грех сказать, никого не обидел, такой баловник!»

– «Это удивительно! А что в доме про него слышно?»

«Барин, сказывают, прекрасный: такой добрый, такой веселый. Одно не хорошо: за девушками слишком любит гоняться. Да, по мне, это еще не беда: со временем остепенится».

– «Как бы мне хотелось его видеть!» сказала Лиза со вздохом.

«Да что же тут мудреного? Тугилово от нас недалеко, всего три версты: подите гулять в ту сторону, или поезжайте верхом; вы верно встретите его. Он же всякий день, рано по утру, ходит с ружьем на охоту».

– «Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре, так и мне всё же нельзя будет с ним познакомиться... Ах, Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!»

«И в самом деле; наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово; ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает».

– «А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя! Какая славная выдумка!» И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение.

На другой же день приступила она к исполнению своего плана, послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок, с помощью Насти сшила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру всё было готово. Лиза примерила обнову, и призналась пред зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою, на подобие глиняных котлов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее: она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колот ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла: она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шопотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле.

Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как чередворцы ожидают государя; ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостию; боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, сто-

ящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная, почему; но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак роши. Глухой, перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала... но можно ли с точностью определить, о чем думает семнадцатилетняя барышня, одна, в роще, в шестом часу весеннего утра? И так она шла, задумавшись, по дороге, осеменной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная лягавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос: *tout beau, Sbogar, ici...* и молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая», сказал он Лизе, «собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испугу, и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин», сказала она, притворяясь полуиспуганной, полужастенчивой, «боюсь: она, вишь, такая злая; опять кинется», Алексей (читатель уже узнал его) между тем пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься», сказал он ей; «ты мне позволишь идти подле себя?» – «А кто те мешает?» отвечала Лиза; «вольному воля, а дорога мирская». – «Откуда ты?» – «Из Прилучина; я дочь Василия кузнеца, иду по грибы» (Лиза несла кузовок на веревочке). «А ты, барин? Тугиловский, что ли?» – «Так точно», отвечал Алексей, «я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уравнять их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А лжешь», сказала она, «не на дуру попал. Вижу, что ты сам барин». – «Почему же ты так думаешь?» – «Да по всему». – «Однако ж?» – «Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то не так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по нашему». Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее; но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями», сказала она с важностью, «то не извольте забываться». – «Кто тебя научил этой премудрости?» спросил Алексей, расхохотавшись: «Уж не Настенька ли, моя знакомая, не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение!» Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась. «А что думаешь?» сказала она; «разве я и на барском дворе никогда не бываю? небось: всего наслышалась и нагляделась. Однако», продолжала она, «болтая с тобою, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощения просим...» Лиза хотела удалиться, Алексей удержал ее за руку. «Как тебя зовут, душа моя». – «Акулиной», отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой; «да пусти ж, барин; мне и домой пора». – «Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василию кузнецу». – «Что ты?» возразила с живостью Лиза, «Ради Христа, не приходи. Коли дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет; отец мой, Василий кузнец, приберет меня до смерти». – «Да я непременно хочу с тобою опять видеться». – «Ну я когда-нибудь опять сюда приду за грибами». – «Когда же?» – «Да хоть завтра». – «Милая Акулина, расцеловал бы тебя, да не смею. Так завтра, в это время, не правда ли?» – «Да, да». – «И ты не обманешь меня?» – «Не обману». – «Побожись», – «Ну вот те святая пятница, приду».

Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеленая и затя-

нутая в рюмочку, нарезывала тоненькие тартинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. «Нет ничего здоровее», сказал он, «как просыпаться на заре». Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более ста лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия, совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее: она совсем было решила не сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василия кузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решилась на другое утро опять явиться в рошу Акулиной.

С своей стороны Алексей был в восхищении, целый день думал он о новой своей знакомке; ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим Сбогаром и побесал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании; наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан, и бросился на встречу милой Акулины. Она улыбнулась восторгу его благодарности; но Алексей тотчас же заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним, и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Всё это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии; но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил всё свое красноречие, дабы отвлечь Акулину от ее намерения; уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады: видаться с нею наедине, хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти, и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово», сказала она наконец, «что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся было ей святою пятницею, но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы,» сказала Лиза, «довольно одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор пока Лиза сказала ему: пора. Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны, и хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и мрачную разочарованность, был добрый и пылкий мальчик и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждения невинности.

Если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры; но знаю, что большая часть моих читателей

не разделила бы со мною моего удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными, итак я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без памяти, и Лиза была не равнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем.

Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная; Алексей, как ни привязан был к милой своей Акулине, всё помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою; а Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной, романическою надеждою увидеть наконец тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменяло их взаимных отношений.

В одно ясное, холодное утро (из тех, какими богата наша русская осень) Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякой случай взял с собою пары три борзых, стремянного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазнясь хорошею погодою, велел оседлать кучую свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом, в чекмене, подбитом лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то конечно б он поворотил в сторону; но он наехал на Берестова вовсе неожиданно, и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего: Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется *господам* по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал по полю. Берестов и стремянный закричали во всё горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренно доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскавав до оврага, прежде ею не замеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою кучую кобылу, которая, как будто опомнясь, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стремянный привел виновную лошадь, держа ее под узды. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным, и таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.

Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожek, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как взял с него честное слово на другой же день (и с Алексеем Ивановичем) приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости кучой кобылки.

Лиза выбежала на встречу Григорью Ивановичу. «Что это значит, папа?» сказала она с удивлением; «отчего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?» — «Вот уж не угадаешь, my dear», отвечал ей Григорий Иванович, и рассказал

всё, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы. «Что вы говорите!» сказала она, побледнев. «Берестовы, отец и сын! Завтра у нас обедать! Нет, папа, как вам угодно: я ни за что не покажусь». — «Что ты, с ума сошла?» возразил отец; «давно ли ты стала так застенчива, или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романическая героиня? Полно, не дурачься...» — «Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие соколовица не явлюсь я перед Берестовыми». Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с нею ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.

Лизвета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? С другой стороны Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное... Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее Насте; обе обрадовались ей как находке, и положили исполнить ее непременно.

На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочери, всё ли намерена она спрятаться от Берестовых. «Папа», отвечала Лиза, «я приму их, если это вам угодно, только с уговором: как бы я перед ними ни явилась, что б я ни сделала, вы бранить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия». — «Опять какие-нибудь проказы!» сказал смеясь Григорий Иванович. «Ну, хорошо, хорошо; согласен, делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим словом он поцеловал ее в лоб и Лиза побежала приготовляться.

В два часа ровно коляска домашней работы, запряженная шестью лошадьми, въехала на двор и покатила около густозеленого дернового круга. Старый Берестов взшел на крыльцо с помощью двух ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец, и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренно жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана; он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался, и хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.

Возвратясь в гостиную, они уселись втроем: старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее и вследствие сего приготовился. Дверь открылась, он повернул голову с таким равнодушием, с такою гордою небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастью, вместо Лизы, вошла старая мисс Жаксон, набеленая, затянутая, с потупленными глазами и с маленьким книксом, и прекрасное военное движение Алексея пропало втуне. Не успел он снова собраться с силами, как дверь опять открылась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали; отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы... Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурмлена пуще самой мисс Жаксон; фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV; рукава à l'imbécile торчали как фижмы у Madame de Pompadour; талия была перетянута, как буква

икс, и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадою ему последовал; когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку, с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это помирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления; но шалость его дочери казалась ему так забавна, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что сурьма и белила были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает.

Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы, нараспев, и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но находя всё это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома: ел за двоих,пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал.

Наконец встали из-за стола; гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам: «Что тебе вздумалось дурачить их?» спросил он Лизу. «А знаешь ли что? Белила право тебе пристали; не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоём месте я бы стал белиться; разумеется не слишком, а слегка». Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете, и побежала умиловать раздражённую мисс Жаксон, которая на силу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдания. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкою; она не смела просить... она была уверена, что добрая, милая мисс Жаксон простит ей... и проч., и проч. Мисс Жаксон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее насмех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности.

Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий. «Ты был, барин, вечер у наших господ?» сказала она тотчас Алексею; «какова показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он ее не заметил. «Жаль», возразила Лиза. — «А почему же?» спросил Алексей. — «А потому, что я хотела бы спросить у тебя, правда ли, говорят...» — «Что же говорят?» — «Правда ли, говорят, будто бы я на барышню похожа?» — «Какой вздор! она перед тобой урод уродом». — «Ах, барин, грех тебе это говорить; барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне с нею ровняться!» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышен, и чтоб успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души. «Однако ж», сказала она со вздохом, «хоть барышня, может, и смешна, всё же я перед нею дура безграмотная». — «И!» сказал Алексей, «есть о чем сокрушаться! Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте». — «А взаправду», сказала Лиза, «не попытаться ли и в самом деле?» — «Изволь, милая; начнем хоть сейчас». Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку, и Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надивиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать; сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно.



«Что за чудо!» говорил Алексей. «Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе». В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам «Наталью боярскую дочь», прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении, и круглый лист измарала афоризмами, выбранными из той же повести.

Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма, и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина видимо привыкала к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался.

Между тем, недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорьем Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу, вот по каким обстоятельствам: Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича всё его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу; что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии, и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство (или, по его выражению, английскую дурь), однако ж не отрицал в нем и многих отличных достоинств, например: редкой оборотливости; Григорий Иванович был близкой родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному; граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский (так думал Иван Петрович) вероятно обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали всё это каждый про себя, что наконец друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать, и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение: уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось они друг другу не очень нравились; по крайней мере Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостоивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время всё сладит.

Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку, и немного помолчав, сказал: «Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Иль гусарский мундир уже тебя не прельщает!» – «Нет, батюшка», отвечал почтительно Алексей, «я вижу, что вам не угодно, чтоб я шел в гусары; мой долг вам повиноваться». – «Хорошо» отвечал Иван Петрович, «вижу, что ты послушный сын; это мне утешительно; не хочу ж и я тебя неволить; не понуждаю тебя вступить... тотчас... в статскую службу; а покамест намерен я тебя женить».

«На ком это, батюшка?» спросил изумленный Алексей.

– «На Лизавете Григорьевне Муромской», отвечал Иван Петрович; «невеста хоть куда; не правда ли?»

«Батюшка, я о женитьбе еще не думаю».

– «Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал».

«Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится».

– «После понравится. Стерпится, слюбится».

«Я не чувствую себя способным сделать ее счастье».

– «Не твое горе – ее счастье. Что? так-то ты считаешь волю родительскую? Добро!»

«Как вам угодно, я не хочу жениться и не жениюсь».

– «Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как Бог свят! продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю. Даю тебе три дня на размышление, а покамест не смей на глаза мне показаться».

Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь; но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим, и наконец об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен; романтическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сем решительном поступке, тем более находил в нем благоразумия. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им погибели, и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту, в душо, и лег спать весьма довольный собою.

На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?» спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом прилучинского замка. «Никак нет», отвечал слуга; «Григорий Иванович с утра изволил выехать». – «Как досадно!» подумал Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Лизавета Григорьевна?» – «Дома-с». И Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводья в руки лакею, и пошел без доклада.

«Всё будет решено», думал он, подходя к гостиной; «объяснюсь с нею самою». – Он вошел... и остолбенел! Лиза... нет Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице, сидела перед окном и читала его письмо; она так была занята, что не слыхала, как он и вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина, Акулина!..» Лиза старалась от него освободиться... «*Mais laissez-moi donc, monsieur; mais êtes-vous fou?*» повторяла она, отворачиваясь. «Акулина! друг мой, Акулина!» повторял он, целуя ее руки. Мисс Жаксон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел.

«Ага!» сказал Муромский, «да у вас, кажется, дело совсем уже слажено...»

Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.

1830

## Юрий Милославский, или русские в 1612 году

[Соч. М.Н. Загоскина. – М. в типогр. Н. Степанова, 1829. – 3 части, с виньетками на заглавных листах (в I-й части 255, во II-й 166, в III-й 263 стр. в 12 д.л.).]

В наше время под словом *роман* разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании. Валгер Скотт увлек за собою целую толпу подражателей. Но как они все далеки от шотландского чародея! подобно ученику Агриппы, они, вызвав демона старины, не умели им управлять и сделались жертвами своей дерзости. В век, в который хотят они перенести читателя, перебираются они сами с тяжелым запасом домашних привычек, предрассудков и дневных впечатлений.

Под *беретом*, осененным перьями, узнаете вы голову, причесанную вашим парикмахером; сквозь кружевную фрезу à la Henri IV проглядывает накрахмаленный галстук нынешнего dandy. Готические героини воспитаны у Madame Campan, а государственные люди XVI-го столетия читают Times и Journal des débats. Сколько несообразностей, ненужных мелочей, важных упущений! сколько изысканности! а сверх всего, как мало жизни! Однако ж сии бледные произведения читаются в Европе. Потому ли, что люди, как утверждала Madame de Staël, знают только историю своего времени и, следовательно, не в состоянии заметить нелепости романтических анахронизмов? потому ли, что изображение старины, даже слабое и неверное, имеет неизъяснимую прелесть для воображения, притупленного однообразной пестротой настоящего, ежедневного?

Спешим заметить, что упреки сии вовсе не касаются *Юрия Милославского*.

<...>

1830

### [О записках Самсона]

Французские журналы извещают нас о скором появлении *Записок Самсона, парижского палача*. Этого должно было ожидать. Вот до чего довела нас жажда новизны и сильных впечатлений.

После соблазнительных *Исповедей* философии XVIII века явились политические, не менее соблазнительные откровения. Мы не довольствовались видеть людей известных в колпаке и в шляфроке, мы захотели последовать за ними в их спальню и далее. Когда нам и это надоело, явилась толпа людей темных с позорными своими сказаниями. Но мы не остановились на бесстыдных записках Генриетты Вильсон,<sup>62</sup> Казановы и Современницы. Мы кинулись на плутовские признания полицейского шпиона и на пояснения оных клейменого каторжника. Журналы наполнились выписками из Видока. Поэт Гюго не постыдился в нем искать вдохновений для романа, исполненного огня и грязи. Недоставало палача в числе новейших литераторов. Наконец и он явился, и к стыду нашему скажем, что успех его *Записок* кажется несомнительным. <...>

1830

### [Англия есть отечество карикатуры и пародии...]

Англия есть отечество карикатуры и пародии. Всякое замечательное происшествие подает повод к сатирической картинке; всякое сочинение, озаменованное успехом, подпадает под пародию. Искусство подделываться под слог известных писателей доведено в Англии до совершенства. Вальтер Скотту показывали однажды стихи, будто бы им сочиненные. «Стихи, кажется, мои, — отвечал он, смеясь: — я так много и так давно пишу, что не смею отречься и от этой бессмыслицы!» — Не думаю, чтобы кто-нибудь из известных наших писателей мог узнать

себя в пародиях, напечатанных недавно в одном из московских журналов. Сей род шуток требует редкой гибкости слова; хороший пародист обладает всеми слогами, а наш едва ли и одним. Впрочем, и у нас есть очень удачный опыт: г-н Полевой очень забавно пародировал Гизота и Тьерри.<sup>63</sup>  
1830

## [Наброски предисловия к «Борису Годунову»]

### I

Voici ma tragédie puisque vous la voulez absolument, mais avant que de la lire j'exige que vous parcouriez le dernier tome de Karamzine. Elle est remplie de bonnes plaisanteries et d'allusions fines à l'histoire de ce temps-là comme nos sous-oeuvres de Kiov et de Kamenka. Il faut les comprendre *sine qua non*.

A l'exemple de Shakespeare je me suis borné à développer une époque et des personnages historiques sans rechercher les effets théâtraux, le pathétique romanesque etc... le style en est mélangé. — Il est trivial et bas là où j'ai été obligé de faire intervenir des personnages vulgaires et grossiers — quand aux grosses indécentes, n'y faites pas attention: cela a été écrit au courant de la plume, et disparaîtra à la première copie. Une tragédie sans amour souriait à mon imagination. <...>

[Вот моя трагедия, раз уж вы непременно хотите ее, но я требую, чтобы прежде прочтения вы пробежали последний том Карамзина. Она полна славных шуток и тонких намеков на историю того времени, вроде наших киевских и каменных обнянков. Надо понимать их — это *sine qua non*.

По примеру Шекспира я ограничился развернутым изображением эпохи и исторических лиц, не стремясь к сценическим эффектам, к романтическому пафосу и т.п... Стиль трагедии смешанный. Он площадной и низкий там, где мне приходилось выводить людей простых и грубых, — что касается грубых непристойностей, не обращайтесь на них внимания: это писалось наскоро и исчезнет при первой же переписке. Меня прельщала мысль о трагедии без любовной интриги.<...>

### III

Изучение Шекспира, Карамзина и старых наших летописей дало мне мысль облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох новейшей истории. Не смущаемый никаким светским влиянием, Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении типов, Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени. Источники богатые! Умел ли ими воспользоваться — не знаю, — по крайней мере, труды мои были ревностны и добросовестны. Долго не мог я решиться напечатать свою драму. Хороший или худой успех моих стихотворений, благосклонное или строгое решение журналов о какой-нибудь стихотворной повести донныне слабо тревожили мое самолюбие. Критики слишком лестные не ослепляли его. Читая разборы самые оскорбительные, старался я угадать мнение критика, понять со всевозможным хладнокровием, в чем именно состоят его обвинения. — И если никогда не отвечал я на оные, то сие происходило не из презрения, но единственно из убеждения, что

для нашей литературы il est indifférent [безразлично], что такая-то глава *Онегина* выше или ниже другой. Но, признаюсь искренно, неуспех драмы моей огорчил бы меня, ибо я твердо уверен, что нашему театру приличны народные законы драмы шекспировой, а не придворный обычай трагедии Расина, и что всякий неудачный опыт может замедлить преобразование нашей сцены. (*Ермак* А.С. Хомякова есть более произведение лирическое, чем драматическое. Успехом своим оно обязано прекрасным стихам, коими оно писано). <...>

Нашед в истории одного из предков моих, игравшего важную роль в сию несчастную эпоху, я вывел его на сцену, не думая о щекотливости приличия, соп атоге, но безо всякой дворянской спеси. Изо всех моих подражаний Байрону дворянская спесь была самое смешное. Аристокрацию нашу составляет дворянство новое; древнее же пришло в упадок, права уровнены с правами прочих состояний, великие имения давно раздроблены, уничтожены и никто, даже самые потомки и проч. – Принадлежать старой аристокрации не представляет никаких преимуществ в глазах благоразумной черни, и уединенное почитание к славе предков может только навлечь нареkanie в странности или бессмысленном подражании иностранцам.

[1830]

## [Опровержение на критики]

### I

<...> «Кавказский Пленник» – первый неудачный опыт характера, с которым я насилу сладил; он был принят лучше всего, что я ни написал, благодаря некоторым элегическим и описательным стихам. Но зато Николай и Александр Раевский и я, мы вдоволь над ним насмеялись.

\* \* \*

«Бахчисарайский фонтан» слабее «Пленника» и, как он, отзывается чтением Байрона, от которого я с ума сходил. Сцена Заремы с Марией имеет драматическое достоинство. Его, кажется, не критиковали. А Раевский хохотал над следующими стихами:

Он часто в сечах роковых  
Подъемлет саблю – и с размаха  
Недвижим остается вдруг,  
Глядит с безумием вокруг,  
Бледнеет etc.

Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Всё это смешно, как мелодрама. <...>

### II

<...> Если б «Недоросль», сей единственный памятник народной сатиры, «Недоросль», которым некогда восхищалась Екатерина и весь ее блестящий двор,

если б «Недоросль» явился в наше время, то в наших журналах, посмеясь над правописанием Фонвизина, с ужасом заметили бы, что Простакова бранит Палашку *канальей* и *собачьей дочерью*, а себя сравнивает с *сукою* (!!). «Что скажут дамы! – воскликнул бы критик, – ведь эта комедия может попасться дамам!» – В самом деле страшно! Что за нежный и разборчивый язык должны употреблять господа сии с дамами! Где бы, как бы послушать! А дамы наши (Бог им судья!) их и не слушают и не читают, а читают этого грубого В. Скотта, который никак не умеет заменять просторечие простомыслием.

### III

«Граф Нулин» наделал мне больших хлопот. Нашли его (с позволения сказать) похабным, – разумеется в журналах, в свете приняли его благосклонно, и никто из журналистов не захотел за него заступиться. Молодой человек ночью осмелился войти в спальню молодой женщины и получил от нее пощечину! Какой ужас! как сметь писать такие отвратительные гадости? Автор спрашивал, что бы на месте Натальи Павловны сделали петербургские дамы: какая дерзость! Кстати о моей бедной сказке (писанной, буди сказано мимоходом, самым трезвым и благопристойным образом) – подняли противу меня всю классическую древность и всю европейскую литературу! Верю стыдливости моих критиков: верю, что «Граф Нулин» точно кажется им предосудительным. Но как же упоминать о древних, когда дело идет о благопристойности? И ужели творцы шуточных повестей Ариост, Бокаччио, Лафонтен, Касты, Спенсер, Чаусер, Виланд, Байрон известны им по одним лишь именам? <...>

\* \* \*

*Habent sua fata libelli.* [Книги имеют свою судьбу]. «Полтава» не имела успеха. Вероятно она и не стоила его; но я был избалован приемом, оказанным моим прежним, гораздо слабейшим произведениям; к тому ж, это сочинение совсем оригинальное, а мы из того и бьемся.

Наши критики взялись объяснить мне причину моей неудачи – и вот каким образом.

Они во-первых объявили мне, что отроду никто не видывал, чтоб женщина влюбилась в старика, и что следственно любовь Марии к старому гетману (NB исторически доказанная) не могла существовать.

Ну что ж, что ты Честон? Хоть знаю, да не верю.

Я не мог довольствоваться этим объяснением: любовь есть самая своенравная страсть. Не говорю уже о безобразии и глупости, ежедневно предпочитаемых молодости, уму и красоте. Вспомните предания мифологические, превращения Овидиевы, Леду, Филиру, Пазифаю, Пигмалиона – и признайтесь, что все сии вымыслы не чужды поэзии. А Отелло, старый негр, пленивший Дездемону рассказами о своих странствиях и битвах?.. А Мирра, внушившая итальянскому поэту одну из лучших его трагедий?.. <...>

В «Вестнике Европы» заметили, что заглавие поэмы ошибочно, и что вероятно не назвал я ее «Мазепой», чтоб не напомнить о Байроне. Справедливо, – но была тут и другая причина: эпитафия. Так и «Бахчисарайский Фонтан» в рукописи назван был *Харемом*, но меланхолический эпитафия (который конечно лучше всей поэмы) соблазнил меня.<sup>64</sup>

Кстати о «Полтаве» критики упомянули однако ж о Байроновом «Мазепе»; но как они понимали его! Байрон знал Мазепу только по Вольтеровой «Истории Карла XII». Он поражен был только картиной человека, привязанного к дикой лошади и несущегося по степям. Картина, конечно, поэтическая, и за то посмотрите, что он из нее сделал. Но не ищите тут ни Мазепы, ни Карла, ни сего мрачного, ненавистного, мучительного лица, которое проявляется во всех почти произведениях Байрона, но которого (на беду одному из моих критиков) как нарочно в «Мазепе» именно и нет. Байрон и не думал о нем: он выставил ряд картин одна другой разительнее – вот и всё: но какое пламенное создание! какая широкая, быстрая кисть! Если ж бы ему под перо попала история обольщенной дочери и казненного отца, то вероятно никто бы не осмелился после него коснуться сего ужасного предмета. <...>

[1830]

### [Об Альфреде Мюссе]

<...> в повести *Mardoche Musset* первый из французских поэтов умел схватить Байрона в его шуточных произведениях, что вовсе не шутка. Если будем понимать слова Горация, как понял их английский поэт\*, то мы согласимся с его мнением: трудно прилично выражать обыкновенные предметы.<sup>65</sup>

[1830]

### [О народной драме и драме «Марфа Посадница»]

Между тем как эстетика со времен Канта и Лессинга развита с такой ясностью и обширностью, мы всё еще остаемся при понятиях тяжелого педанта Готшеда; мы всё еще повторяем, что *прекрасное* есть подражание изяшной природе и что главное достоинство искусства есть *польза*. Почему же статуи раскрашенные нравятся нам менее чисто мраморных и медных? Почему поэт предпочитает выражать мысли свои стихами? И какая польза в Тициановой Венере и в Аполлоне Бельведерском?

Правдоподобие всё еще полагается главным условием и основанием драматического искусства. Что если докажут нам, что самая сущность драматического искусства именно исключает правдоподобие? Читая поэму, роман, мы часто можем забыть и полагать, что описываемое происшествие не есть вымысел, но истина. В оде, в элегии можем думать, что поэт изображал свои настоящие чувствования в настоящих обстоятельствах. Но где правдоподобие в здании, разделенном на две части, из коих одна наполнена зрителями, которые условились etc.

\* В эпиграфе к «Дон Жуану»:

*Difficile est proprie communia dicere Communia* значит не обыкновенные предметы, но *общие всем* (дело идет о предметах трагических, всем известных, общих, в противоположность предметам вымышленным. См. *ad Pisones*. [Послание к Пизонам]). Предмет Д. Жуана принадлежит исключительно Байрону.

\* \* \*

Если мы будем полагать правдоподобие в строгом соблюдении костюма, красок, времени и места, то тут мы увидим, что величайшие драматические писатели не повиновались сему правилу. У Шекспира римские ликторы сохраняют обычаи лондонских алдерманов. У Кальдерона храбрый Кориолан вызывает консула на дуэль и бросает ему перчатку. У Расина полу-скиф Ипполит говорит языком молодого благовоспитанного маркиза. Римляне Корнеля суть или испанские рыцари, или гасконские бароны, а Корнелеву Клитемнестру сопровождает швейцарская гвардия. Со всем тем, Кальдерон, Шекспир и Расин стоят на высоте недостижимой – и их произведения составляют вечный предмет наших изучений и восторгов.

Какого же правдоподобия требовать должны мы от драматического писателя? Для разрешения сего вопроса рассмотрим сначала, что такое драма и какая ее цель.

Драма родилась на площади и составляла увеселение народное. Народ, как дети, требует занимательности, действия. Драма представляет ему необыкновенное, странное происшествие. Народ требует сильных ощущений – для него и казни – зрелище. Смех, жалость и ужас суть три струны нашего воображения, потрясаемые драматическим волшебством. Но смех скоро ослабевает, и на нем одном невозможно основать полного драматического действия. Древние трагики пренебрегали сею пружиною.<...>

Трагедия преимущественно выводила тяжкие злодеяния, страдания сверхъестественные, даже физические (напр. Филоктет, Эдип, Лир). Но привычка притупляет ощущения – воображение привыкает к убийствам и казням, смотрит на них уже равнодушно, изображение же страстей и излиятий души человеческой для него всегда ново, всегда занимательно, велико и поучительно. Драма стала заведовать страстями и душою человеческою.

Истина страстей, правдоподобие чувствований в предлагаемых обстоятельствах – вот чего требует наш ум от драматического писателя.

Драма оставила площадь и перенеслася в чертоги по требованию образованного, избранного общества. Поэт переселился ко двору. Между тем драма остается верно первоначальному своему назначению – действовать на множество, занимать его любопытство. Но тут драма оставила язык общепонятный и приняла наречие модное, избранное, утонченное.

\* \* \*

Отселе важная разница между трагедией народной, Шекспировой и драмой придворной, Расиновой. Творец трагедии народной был образованнее своих зрителей, он это знал, давал им свои свободные произведения с уверенностью своей возвышенности, и признанием публики беспрекословно чувствуемым. При дворе, наоборот, поэт чувствовал себя ниже своей публики. Зрители были образованнее его, по крайней мере так думали и он и они. Он не предавался вольно и смело своим вымыслам. Он старался угадывать требования утонченного вкуса людей, чуждых ему по состоянию. Он боялся унижить такое-то высокое звание, оскорбить таких-то спесивых своих зрителей – отселе робкая чопорность, смешная надутость, вошедшая в пословицу (*un héros, un roi de comédie*), привычка смотреть на людей высшего состояния с каким-то подобострастием и придавать им странный, нечеловеческий образ изъяснения. <...>



Мы к этому привыкли, нам кажется, что так и должно быть. Но надобно признаться, что если герои выражаются в трагедиях Шекспира как конюхи, то нам это не странно, ибо мы чувствуем, что и знатные должны выражать простые понятия, как простые люди.

\* \* \*

Не имею целию и не смею определять выгоды и невыгоды той и другой трагедии – развивать существенные различия систем Расина и Шекспира, Кальдерона и Гёте. Спешу обозреть историю драматического искусства в России.

Драма никогда не была у нас потребностью народною. <...> Первые труппы, появившиеся в России, не привлекали народа, не понимающего драматического искусства и не привыкшего к его условиям. Явился Сумароков, несчастнейший из подражателей. Трагедии его, исполненные противусмыслия, писанные варварским изнеженным языком, нравились двору Елисаветы как новость, как подражание парижским увеселениям. Сии вялые, холодные произведения не могли иметь никакого влияния на народное пристрастие. Озеров это чувствовал. Он пытался дать нам трагедию народную – и вообразил, что для сего довольно будет, если выберет предмет из народной истории – забыв, что поэт Франции брал все предметы для своих трагедий из римской, греческой и еврейской истории и что самые народные трагедии Шекспира заимствованы им из итальянских новеллей.<sup>66</sup> <...> [1830]

### [Заметка о «Графе Нулине»]

В конце 1825 года находился я в деревне. Перечитывая «Лукрецию», довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? быть может, это охладило б его предприимчивость, и он со стыдом принужден был отступить? Лукреция б не зарезалась. Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те.

Итак, республикою, консулами, диктаторами, Катонами, Кесарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось в моем содействии, в Новоржевском уезде.

Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть.

Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. «Граф Нулин» писан 13 и 14 декабря. Бывают странные сближения.<sup>67</sup>

[1830]

### [Заметки и афоризмы разных годов]

В миг, когда любовь исчезает, наше сердце еще лелеет ее воспоминание. Так гладиатор у Байрона соглашается умирать, но воображение носится по берегам родного Дуная.<sup>68</sup>

(1830)

<...> В одной из Шекспировых комедий крестьянка Одрей<sup>69</sup> спрашивает: «Что такое поэзия? вещь ли это *настоящая*?» Не этот ли вопрос, предложенный в ином виде и гораздо велеречивее, находим мы в рассуждении о поэзии романтической, помещенном в одном из московских журналов 1830 года? (1830)

Мильтон говаривал: «С меня довольно и малого числа читателей, лишь бы они достойны были понимать меня». – Это гордое желание поэта повторяется иногда и в наше время, только с небольшою переменной. Некоторые из наших современников явно и под рукою стараются вразумить нас, что «с них довольно и малого числа читателей, лишь бы много было *покупателей*». (1830)

### [О романах Вальтера Скотта]

Главная прелесть романов Walter Scott состоит в том, что мы знакомимся с прошедшим временем не с *enflure* [напыщенностью] французских трагедий, – не с чопорностию чувствительных романов – не с *dignité* [достоинством] истории, но современно, но домашним образом – *Ce qui me dégoûte c'est ce que...* [То, что, вызывает у меня неприятные ощущения, это...]. Тут наоборот *ce qui nous charme dans le roman historique – c'est que ce qui est historique est absolument ce que nous voyons*. [Что нас очаровывает в историческом романе – это то, что историческое в нем есть подлинно то, что мы видим] Shakespeare, Гёте, Walter Scott не имеют холопского пристрастия к королям и героям. Они не походят (как герои французские) на холопей, передразнивающих *la dignité et la noblesse*. *Ils sont familiers dans les circonstances ordinaires de la vie, leur parole n'a rien d'affecté, de théâtral même dans les circonstances solennelles – car les grandes circonstances leur sont familières*.

On voit que Walter Scott est de la petite société des rois d'Angleterre. [Достоинство и благородство. Они просты в буднях жизни, в их речах нет приподнятости, театральности, даже в торжественных случаях, так как величественное для них обычно. Видно, что Вальтер Скотт принадлежит к избранному кругу английских королей].

1830

### Когда Макферсон издал «Стихотворения Оссиана»...

Когда Макферсон издал *Стихотворения Оссиана* (перевод, подражание или собственное сочинение – этот вопрос, кажется, доселе еще не решен), тогда все с восхищением читали их и перечитывали. «Никто еще не был *опечален* мыслию (говорит Вильмен), что, удивляясь сим поэтическим песням, он удивлялся современнику. Все чувствовали *удовольствие без примеси*, то есть читали превосходные поэмы и не обязаны были за них благодарностью никому из живых людей». Потом начали догадываться, допытываться и дознались (вправду или нет), что поэмы Оссиановы были поддельные, новейшие произведения, словом, что их создал сам Макферсон. Известный критик доктор Джонсон, человек отменно грубый,

сильно напал на Макферсона и называл его обманщиком и злоумышленным деятелем подлогов. Закипела жаркая война на перьях. И вот образчик тогдашней полемике: ответ д. Джонсона на письмо Макферсона, который гордо изъяснял свою досаду на обидное неверие английского критика.

«Г-н Джемс Макферсон!

Я получил ваше глупое и бесстыдное письмо. Я всеми мерами буду стараться отражать всякое насильственное против меня покушение; а чего не могу сделать сам, то сделают за меня законы. Надеюсь, что угрозы какого-нибудь негодяя никогда не отклонят меня от стремления – изобличать обман.

Какого себе оправдания требуете вы от меня? Я считал вашу книгу подложною, и теперь ее считаю таковою ж. В подтверждение сего мнения я представил публике причины, которые вызываю вас опровергнуть. Я презираю ваше бешенство. Ваши дарования, по издании в свет вашего Гомера, кажется, не слишком опасны; а слышанное мною о вашем характере заставляет меня обращать внимание не на то, что вы скажете, а на то, что вы докажете. Это письмо вы можете напечатать, если хотите».

В пояснение некоторых слов сего письма должно сказать, что Макферсон, обольщенный успехом своего Оссиана, перевел Гомерову Илиаду оссиановским слогом и весьма неудачно.

Предлагаем это письмо, как поучительный пример для наших журнальных критиков. И почему нашим Адисонам не быть и нашими Джонсонами?<sup>70</sup>  
1830

### [Роман на Кавказских водах]

В одно из первых чисел апреля 181... года, в доме Катерины Петровны Томской происходила большая суматоха. Все двери были растворены настежь; зала и передняя загромождены сундуками и чемоданами; ящики всех комодов выдвинуты; слуги поминутно бегали по лестницам, служанки суетились и спорили; сама хозяйка, дама 45 лет, сидела в спальне, пересматривая счетные книги, принесенные ей толстым управителем, который стоял перед нею с руками за спиной и выдвинув правую ногу вперед. Катерина Петровна показывала вид, будто бы хозяйственные тайны были ей коротко знакомы, но ее вопросы и замечания обнаруживали ее барское неведение и возбуждали изредка едва заметную улыбку на величавом лице управителя, который однако ж с большою снисходительностию подробно входил во все требуемые объяснения. В это время слуга доложил что Парасковья Ивановна Поводова приехала. Катерина Петровна обрадовалась случаю прервать свои совещания, велела просить и отпустила управителя.

– Помилуй, мать моя, – сказала вошедшая старая дама, – да ты собираешься в дорогу! куда тебя Бог несет?

– На Кавказ, милая Парасковья Ивановна.

– На Кавказ! стало быть Москва впервой отроду правду сказала – а я не верила. На Кавказ! да ведь это ужась как далеко. Охота тебе тащиться Бог ведаст куда, Бог ведаст зачем.

– Как быть? Доктора объявили, что моей Маше нужны железные воды, а для моего здоровья необходимы горячие ванны. Вот уже полтора года, как я все страдаю – авось Кавказ поможет.

– Дай-то Бог. А скоро ли едешь?

– Дня через четыре, много, много промешкаю неделю – всё уж готово. Вчера привезли мне новую дорожную карету – что за карета! игрушка, заглядение – вся в ящиках, и чего тут нет – постель, туалет, погребок, аптечка, кухня, сервиз – хочешь ли посмотреть?

– Изволь мать моя. – И обе дамы вышли на крыльцо. Кучера выдвинули из сарая дорожную карету. Катерина Петровна велела открыть дверцы, вошла в карету, перерыла в ней все подушки, выдвинула все ящики, показала все ее тайны, все удобства, приподняла все ставни, все зеркала, выворотила все сумки, словом, для больной женщины оказалась очень деятельной и проворной. Полюбовавшись экипажем, обе дамы возвратились в гостиную, где разговорились опять о предстоящем пути, о возвращении, о планах на будущую зиму.

– В октябре месяце, – сказала Катерина Петровна – надеюсь непременно воротиться. У меня будут вечера, два раза в неделю, и надеюсь, милая, что ты ко мне перенесешь свой бостон.

В эту минуту девушка лет 18-ти, стройная, высокая, с бледным прекрасным лицом и черными огненными глазами, тихо вошла в комнату, подошла к руке Катерины Петровны и присела Поводовой.

– Хорошо ли ты спала, Маша? – спросила Катерина Петровна.

– Хорошо, маменька, сейчас только встала. Вы удивляетесь моей лени, Парасковья Ивановна? Что делать – больной простительно.

– Спи, мать моя, спи себе на здоровье, – отвечала Поводова, – да смотри: воротись у меня с Кавказа румяная, здоровая, а Бог даст – и замужняя.

– Как замужняя? – возразила Катерина Петровна смеясь, – да за кого выдти ей на Кавказе? разве за черкесского князя?..

– За черкеса! сохрани ее Бог! да ведь они что турки да бухарцы-нехристы. Они ее забреют да запрут.

– Пошли нам Бог только здоровья, – сказала со вздохом Катерина Петровна, – а женихи не уйдут. Слава Богу, Маша еще молода, приданое есть. А добрый человек полюбит, так и без приданого возьмет.

– А с приданым всё-таки лучше, мать моя, – сказала Парасковья Ивановна вставая. – Ну, простимся ж, Катерина Петровна, уж я тебя до сентября не увижу; далеко мне до тебя тащиться, с Басманной на Арбат – и тебя не прошу, знаю что тебе теперь некогда – прощай и ты, красавица, не забудь же моего совета.

Дамы распростились, и Парасковья Ивановна уехала.<sup>71</sup>

## Обозрение обозрений

Некоторые из наших писателей видят в русских журналах представителей народного просвещения, указателей общего мнения и проч. – и вследствие сего требуют для них того уважения, каким пользуются *Journal des débats* и *Edinburgh review*.

Определяйте значение слов, говорил Декарт. Журнал в смысле, принятом в Европе, есть отголосок целой партии, периодические памфлеты, издаваемые людьми, известными сведениями и талантами, имеющие свое политическое направление, свое влияние на порядок вещей. Сословие журналистов есть рассадник людей государственных – они знают это и, собираясь овладеть общим мнением, они страшатся унижать себя в глазах публики недобросовестностью, переметчивостью, корыстолюбием или наглостью. По причине великого конкурса невежество или посредственность не может овладеть монополией журналов, и человек без истинного дарования не выдержит l'épreuve [испытания] издания. Посмотрите, кто во Франции, кто в Англии издает сии противоборствующие журналы? Здесь Шатобриан, Мартиньяк, Перонет, там Гиффорд, Джефри, Питт. Что ж тут общего с нашими журналами и журналистами – шлюсь на собственную совесть наших литераторов? Спрашиваю, по какому праву «Северная Пчела» будет управлять общим мнением русской публики; какой голос может иметь «Северный Меркурий»?<sup>72</sup>

1831

## Воспоминания

### Холера

<...> Едва успел я приехать в [Болдино], как узнаю, что около меня оцепляют деревни, учреждаются карантинны. Народ рошщет, не понимая строгой необходимости и предпочитая зло неизвестности и загадочное непривычному своему стеснению. Мятежи вспыхивают то здесь, то там.

Я занялся моими делами, перечитывая Кольриджа, сочиняя сказки и не езда по соседям. Между тем начинаю думать о возвращении и беспокоиться о карантине. Вдруг 2 октября получаю известие, что холера в Москве. Страх меня пронял – в Москве... но об этом когда-нибудь после. <...>

1831

## Езерский

### XIII

Зачем крутится ветер в овраге,  
 Подъемлет лист и пыль несет,  
 Когда корабль в недвижной влаге  
 Его дыханья жадно ждет?  
 Зачем от гор и мимо башен  
 Летит орел, тяжел и страшен,  
 На черный пень? Спроси его.  
 Зачем арапа своего  
 Младая любит Дездемона,<sup>73</sup>  
 Как месяц любит ночи мглу?  
 Затем, что ветру и орлу  
 И сердцу девы нет закона.

Гордись: таков и ты поэт.  
И для тебя условий нет.  
<...>  
1832

## Мера за меру

Дук

Вам объяснять правления начала  
Излишним было б для меня трудом –  
Не нужно вам ничьих советов. – Знаньем  
Превыше сами вы всего. Мне только  
Во всем на вас осталось положиться.  
Народный дух, законы, ход правленья  
Постигли вы верней, чем кто б то ни был.  
Вот вам наказ: желательно б нам было,  
Чтоб от него не отшатнулись вы.  
Позвать к нам Анджело.

Каков он будет

По мненью вашему на нашем месте?  
Вы знаете, что нами он назначен  
Нас заменить в отсутствии, что мы  
И милостью и страхом облекли  
Наместника всей нашей власти, что же  
Об нем вы мните?

Ескал

Если в целой Вене  
Сей почести достоин кто-нибудь,  
Так это Анджело.

Дук

Вот он идет.

Анджело

Послушен вашей милостивой воле,  
Спешу принять я ваши приказанья.

Дук

Анджело, жизнь твоя являет  
То, что с тобою совершится впредь.<sup>74</sup>  
1833

## Анджело

### Часть первая

#### I

В одном из городов Италии счастливой  
Когда-то властвовал предобрый, старый Дук,  
Народа своего отец чадолюбивый,  
Друг мира, истины, художеств и наук.  
Но власть верховная не терпит слабых рук,  
А доброте своей он слишком предавался.  
Народ любил его и вовсе не боялся.  
В суде его дремал карающий Закон,  
Как дряхлый зверь, уже к ловитве не способный.  
Дук это чувствовал в душе своей незлобной  
И часто сетовал. Сам ясно видел он,  
Что хуже дедушек с дня на день были внуки,  
Что грудь кормилицы ребенок уж кусал,  
Что правосудие сидело сложа руки  
И по носу его ленивый не щелкал.

#### II

Нередко добрый Дук, раскаяньем смущенный,  
Хотел восстановить порядок упущенный;  
Но как? Зло явное, терпимое давно,  
Молчанием суда уже дозволено,  
И вдруг его казнить совсем несправедливо  
И странно было бы – тому же особливо,  
Кто первый сам его потворством ободрял.  
Что делать? долго Дук терпел и размышлял;  
Размыслив наконец, решился он на время  
Предать иным рукам верховной власти бремя,  
Чтоб новый властелин расправой новой мог  
Порядок вдруг завести и был бы круг и строг.

#### III

Был некто Анджело, муж опытный, не новый  
В искусстве властвовать, обычаем суровый,  
Блестящий в трудах, ученье и посте,  
За нравы строгие прославленный везде,  
Стеснивший весь себя оградой законной,  
С нахмуренным лицом и с волей непреклонной;  
Его-то старый Дук заместником нарек,  
И в ужас ополчил, и милостью облек,

Неограниченны права ему вручая.  
 А сам, докучного вниманья избегая,  
 С народом не простясь, incognito, один  
 Пустился странствовать, как древний паладин.

## IV

Лишь только Анджело вступил во управление,  
 И всё тотчас другим порядком потекло,  
 Пружины ржавые опять пришли в движенье,  
 Законы поднялись, хватая в когти зло;  
 На полных площадях, безмолвных от боязни,  
 По пятницам пошли разыгрываться казни,  
 И ухо стал себе почесывать народ  
 И говорить: «Эхе! да этот уж не тот».

## V

Между Законами, забытыми в ту пору,  
 Жестокий был один: Закон сей изрекал  
 Прелюбодею смерть. Такого приговору  
 В том городе никто не помнил, не слышал.  
 Угрюмый Анджело в громаде уложенья  
 Открыл его и в страх повесам городским  
 Опять его на свет пустил для исполненья,  
 Сурово говоря помощникам своим:  
 «Пора нам зло пугнуть. В балованном народе  
 Преобратились привычки уж в права  
 И шмыгают кругом Закона на свободе,  
 Как мыши около зевающего льва.  
 Закон не должен быть пужало из тряпицы,  
 На коем наконец уже садятся птицы».

## VI

Так Анджело на всех навел неволью дрожь,  
 Роптали вообще, смеялась молодежь  
 И в шутках строгого вельможи не щадила,  
 Меж тем как ветрено над бездною скользила,  
 И первый под топор беспечной головой  
 Попался Клавдио, патриций молодой;  
 В надежде всю беду со временем исправить  
 И не любовницу, супругу в свет представить,  
 Джюльету нежную успел он обольстить  
 И к тайнствам любви безбрачной преклонить.  
 Но их последствия, к несчастью, явны стали;  
 Младых любовников свидетели застали,  
 Ославили в суде взаимный их позор,  
 И юноше прочли законный приговор.



## VII

Несчастный, выслушав жестокое решение,  
 С поникшей головой обратно шел в тюрьму,  
 Невольно каждому внушая сожаленье  
 И горько сетуя. Навстречу вдруг ему  
 Попался Луцио, гуляка беззаботный,  
 Повеса, вздорный враль, но малый доброхотный.  
 «Друг, – молвил Клавдио, – молю! не откажи:  
 Сходи ты в монастырь к сестре моей. Скажи,  
 Что должен я на смерть идти; чтоб поспешила  
 Она спасти меня, друзей бы упросила  
 Иль даже бы пошла к наместнику сама.  
 В ней много, Луцио, искусства и ума,  
 Бог дал ее речам уверчивость и сладость,  
 К тому ж и без речей рыдающая младость  
 Мягчит сердца людей». – «Изволь! поговорю», –  
 Гуляка отвечал и сам к монастырю  
 Тотчас отправился.

## VIII

## Младая Изабела

В то время с важною монахиней сидела.  
 Постричься через день она должна была  
 И разговор о том со старицей вела.  
 Вдруг Луцио звонит и входит. У решетки  
 Его приветствует, перебирая четки,  
 Полузатворница: «Кого угодно вам?»  
 – «Девица (и судя по розовым щекам,  
 Уверен я, что вы девица в самом деле),  
 Нельзя ли доложить прекрасной Изабеле,  
 Что к ней меня прислал ее несчастный брат?»  
 – «Несчастный?.. почему? что с ним? Скажите  
 смело:  
 Я Клавдио сестра». – «Нет, право? очень рад.  
 Он кланяется вам сердечно. Вот в чем дело:  
 Ваш брат в тюрьме». – «За что?» – «За то, за  
 что бы я  
 Благодарил его, красавица моя,  
 И не было б ему иного наказанья».  
 (Тут он в подробные пустился описанья,  
 Немного жесткие своею наготой  
 Для девственных ушей отшельницы младой,  
 Но со вниманием всё выслушала дева  
 Без приторных причуд стыдливости и гнева.  
 Она чиста была душою, как эфир.  
 Ее смутить не мог неведомый ей мир  
 Своею суетой и праздными речами.)

– «Теперь, – промолвил он, – осталось лишь  
мольбами  
Вам тронуть Анджело, и вот о чем просил  
Вас братец». – «Боже мой, – девица отвечала, –  
Когда б от слов моих я пользы ожидала!..  
Но сомневаюсь; во мне не станет сил...»  
– «Сомненья нам враги, – тот с жаром  
возразил, –  
Нас неудачею предатели страшат  
И благо верное достать не допускают.  
Ступайте к Анджело и знайте от меня,  
Что если девица, колена преклоня  
Перед мужчиною, и просит, и рыдает,  
Как Бог он всё даст, чего ни пожелает».

## IX

Девица, отпросясь у матери честной,  
С усердным Луцио к вельможе поспешила  
И, на колена встав, смиренною мольбой  
За брата своего наместника молила.  
«Девица, – отвечал суровый человек, –  
Спаси его нельзя; твой брат свой отжил век;  
Он должен умереть». Заплавав, Изабела  
Склонилась перед ним и прочь идти хотела,  
Но добрый Луцио девицу удержал.  
«Не отступайтесь так, – он тихо ей сказал, –  
Просите вновь его; бросайтесь на колени,  
Хватайтесь за плащ, рыдайте; слезы, пени,  
Все средства женского искусства вы должны  
Теперь употребить. Вы слишком холодны,  
Как будто речь идет меж вами про иголку.  
Конечно, если так, не будет верно толку.  
Не отставайте же! еще!»

## X

Она опять  
Усердную мольбой стыдливо умолять  
Жестокосердного блюстителя Закона.  
«Поверь мне, – говорит, – ни царская корона,  
Ни меч наместника, ни бархат судии,  
Ни полководца жезл – все почести сии –  
Земных властителей ничто не украшает,  
Как милосердие. Оно их возвышает.  
Когда б во власть твою мой брат был облечен,  
А ты был Клавдио, ты мог бы пасть, как он,  
Но брат бы не был строг, как ты».

## XI

Ее укором  
 Смущен был Анджело. Сверкая мрачным взором,  
 «Оставь меня, прошу», – сказал он тихо ей.  
 Но дева скромная и жарче, и смелей  
 Была час от часу. «Подумай, – говорила, –  
 Подумай, если Тот, чья праведная сила  
 Прощает и целит, судил бы грешных нас  
 Без милосердия; скажи: что было б с нами?  
 Подумай – и любви услышишь в сердце глас,  
 И милость нежная твоими дхнет устами,  
 И новый человек. ты будешь».

## XII

Он в ответ:  
 «Поди; твои мольбы пустая слов утрата.  
 Не я, Закон казнит. Спасти нельзя мне брата,  
 И завтра он умрет».

Изабела

Как завтра! что? нет, нет.  
 Он не готов еще, казнить его не можно...  
 Ужели Господу пошлем неосторожно  
 Мы жертву наскоро? Мы даже и цыплят  
 Не бьем до времени. Так скоро не казнят.  
 Спаси, спаси его: подумай в самом деле,  
 Ты знаешь, государь, несчастный осужден  
 За преступление, которое доселе  
 Прошалось каждому; постраждет первый он.

Анджело

Закон не умирал, но был лишь в усыпленье,  
 Теперь проснулся он.

Изабела

Будь милостив!

Анджело

Нельзя.  
 Потворствовать греху есть то же преступленье,  
 Карая одного, спасаю многих я.

Изабелла

Ты ль первый изречешь сей приговор ужасный?  
 И первой жертвою мой будет брат несчастный.

Нет, нет! будь милостив. Ужель душа твоя  
 Совсем безвинная? спросись у ней: ужели  
 И мысли грешные в ней отроду не тлели?

### ХIII

Невольно он вздрогнул, поникнул головой  
 И прочь идти хотел. Она: «Постой, постой!  
 Послушай, воротись. Великими дарами  
 Я задарю тебя... прими мои дары,  
 Они не суетны, но честны и добры,  
 И будешь ими ты делиться с небесами:  
 Я одарю тебя молитвами души.  
 Пред утренней зарей, в полнощной тиши,  
 Молитвами любви, смирения и мира,  
 Молитвами святых, угодных небу дев,  
 В уединении умерших уж для мира,  
 Живых для Господа».

Смущен и присмирив,  
 Он ей свидание на завтра назначает  
 И в отдаленные покои поспешает.

### Часть вторая

#### I

День целый Анджело безмолвный и угрюмый  
 Сидел, уединясь, объят одною думой,  
 Одним желанием; всю ночь не тронул сон  
 Усталых вежд его. «Что ж это? – мыслит он, –  
 Ужель ее люблю, когда хочу так сильно  
 Услышать вновь ее и взор мой усладить  
 Девичьей прелестью? По ней грустит умильно  
 Душа... или когда святого уловить  
 Захочет бес, тогда приманкою святою  
 И манит он на крюк? Нескромной красотою  
 Я не был отроду к соблазнам увлечен,  
 И чистой девою тепер я побежден.  
 Влюбленный человек доселе мне казался  
 Смешным, и я его безумству удивлялся,  
 А ныне!...»

#### II

Размышлять, молиться хочет он,  
 Но мыслит, молится рассеянно. Словами  
 Он небу говорит, а волей и мечтами  
 Стремится к ней одной. В унынье погружен,

Устами праздными жевал он имя Бога.  
 А в сердце грех кипел. Душевная тревога  
 Его осилила. Правление для него,  
 Как дельная, давно затверженная книга,  
 Несносным сделалось. Скучал он; как от ига,  
 Отречься был готов от сана своего;  
 А важность мудрую, которой столь гордился,  
 Которой весь народ бессмысленно дивился,  
 Ценил он ни во что и сравнивал с пером,  
 Носимым в воздухе летучим вестерком...

Поутру к Анджело явилась Изабела  
 И странный разговор с наместником имела.

### III

Анджело

Что скажешь?

Изабела

Волю я твою пришла узнать.

Анджело

Ах, если бы ее могла ты угадать!..  
 Твой брат не должен жить... а мог бы.

Изабела

Почему же

Простить нельзя его?

Анджело

Простить? что в мире хуже  
 Столь гнусного греха? убийство легче.

Изабела

Да,

Так судят в небесах, но на земле — когда?

Анджело

Ты думаешь? так вот тебе предположенье:  
 Что если б отдали тебе на разрешенье  
 Оставить брата влечь ко плахе на убой  
 Иль искупить его, пожертвовав собой  
 И плоть предав греху?

Изабела

Скорее, чем душою,  
Я плотью жертвовать готова.

Анджело

Я с тобою  
Теперь не о душе толкую... дело в том:  
Брат осужден на казнь; его спасти грехом  
Не милосердие ль?

Изабела

Пред Богом я готова  
Душою отвечать: греха в том никакого,  
Поверь, и нет. Спаси ты брата моего!  
Тут милость, а не грех.

Анджело

Спасешь ли ты его,  
Коль милость на весах равно с грехом потянет?

Изабела

О пусть моим грехом спасенье брата станет!  
(Коль только это грех.) О том готова я  
Молиться день и ночь.

Анджело

Нет, выслушай меня,  
Или ты слов моих совсем не понимаешь,  
Или понять меня нарочно избегаешь,  
Я проще изъяснюсь: твой брат приговорен.

Изабела

Так.

Анджело

Смерть изрек ему решительно Закон.

Изабела

Так точно.

Анджело

Средство есть одно к его спасенью.  
(Всё это клонится к тому предположению,  
И только есть вопрос и больше ничего.)  
Положим: тот, кто б мог один спасти его

(Наперсник судии иль сам по сану властный  
 Законы толковать, смягчить их смысл ужасный),  
 К тебе желаньем был преступным воспален  
 И требовал, чтоб ты казнь брата искупила  
 Своим падением; не то – решит Закон.  
 Что скажешь? как бы ты в уме своем решила?

Изабела

Для брата, для себя решила бы скорей,  
 Поверь, как яхонты, носить рубцы бичей  
 И лечь в кровавый гроб спокойно, как на ложе,  
 Чем осквернить себя.

Анджело

Твой брат умрет.

Изабела

Так что же?  
 Он лучший путь себе, конечно, изберет.  
 Бесчестием сестры души он не спасет.  
 Брат лучше раз умри, чем гибнуть мне навечно.

Анджело

За что ж казалось тебе бесчеловечно  
 Решение суда? Ты обвиняла нас  
 В жестокосердии. Давно ль еще? Сейчас  
 Ты праведный Закон тираном называла,  
 А братний грех едва ль не шуткой почитала.

Изабела

Прости, прости меня. Невольно я душой  
 Тогда лукавила. Увы! себе самой  
 Противуречила я, милое спасая  
 И ненавистное притворно извиняя.  
 Мы слабы.

Анджело

Я твоим признаньем ободрен,  
 Так женщина слаба, я в этом убежден  
 И говорю тебе: будь женщина, не боле  
 Иль будешь ничего. Так покорися воле  
 Судьбы своей.

Изабела

Тебя я не могу понять.

Анджело

Поймешь: люблю тебя.

Изабела

Увы! что мне сказать?  
Джюльету брат любил, и он умрет, несчастный.

Анджело

Люби меня – и жив он будет.

Изабела

Знаю: властный  
Испыгивать других, ты хочешь...

Анджело

Нет, клянусь,  
От слова моего теперь не отопрешь;  
Клянуся честью.

Изабела

О много, много чести!  
И дело честное!.. Обманщик! Демон лести!  
Сейчас мне Клавдио свободу подпиши,  
Или поступок твой и черноту души  
Я всюду разглашу – и полно лицемерить  
Тебе перед людьми.

Анджело

И кто же станет верить?  
По строгости моей известен свету я;  
Молва всеобщая, мой сан, вся жизнь моя  
И самый приговор над братней головою  
Представят твой донос безумной клеветой.  
Теперь я волю дал стремлению страстей.  
Подумай и смиришь пред волею моей;  
Брось эти глупости: и слезы, и моления,  
И краску робкую. От смерти, от мученья  
Тем брата не спасешь. Покорностью одной  
Искупишь ты его от плахи роковой.  
До завтра от тебя я стану ждать ответа.  
И знай, что твоего я не боюсь извета.  
Что хочешь говори, не пошатнуся я.  
Всю истину твою низвергнет ложь моя.



## IV

Сказал и вышел вон, невинную девицу  
 Оставя в ужасе. Поднявши к небесам  
 Молящий, ясный взор и чистую десницу,  
 От мерзостных палат спешит она в темницу,  
 Дверь отворилась ей; и брат ее глазам  
 Представился.

## V

В цепях, в унынии глубоком,  
 О светских радостях стараясь не жалеть,  
 Еще надеясь жить, готовясь умереть,  
 Безмолвен он сидел, и с ним в плаще широком  
 Под черным куколом с распятием в руках  
 Согбенный старостью беседовал монах.  
 Старик доказывал страдальцу молодому,  
 Что смерть и бытие равны одна другому,  
 Что здесь и там одна бессмертная душа  
 И что поддунный мир не стоит ни гроша.  
 С ним бедный Клавдио печально соглашался,  
 А в сердце милою Джюльетой занимался.  
 Отшельница вошла: «Мир вам!» – очнулся он  
 И смотрит на сестру, мгновенно оживлен.  
 «Отец мой, – говорит монаху Изабела, –  
 Я с братом говорить одна бы здесь хотела».  
 Монах оставил их.

## VI

Клавдио

Что ж, милая сестра,  
 Что скажешь?

Изабела

Милый брат, пришла тебе пора.

Клавдио

Так нет спасенья?

Изабела

Нет, иль разве полатиться  
 Душой за голову?

Клавдио

Так средство есть одно?

Изабела

Так, есть. Ты мог бы жить. Судья готов смяг-  
читься.

В нем милосердие бесовское: оно  
Тебе дарует жизнь за узы муки вечной.

Клавдио

Что? вечная тюрьма?

Изабела

Тюрьма – хоть без оград,  
Без цепи.

Клавдио

Изъяснись, что ж это?

Изабела

Друг сердечный,  
Брат милый! Я боюсь... Послушай, милый брат,  
Семь, восемь лишних лет ужель тебе дороже  
Всегдашней чести? Брат, боишься ль умереть?  
Что чувство смерти? миг. И много ли терпеть?  
Раздавленный червяк при смерти терпит то же,  
Что терпит великан.

Клавдио

Сестра! или я трус?  
Или идти на смерть во мне не станет силы?  
Поверь, без трепета от мира отрешусь,  
Коль должен умереть; и встречу ночь могилы,  
Как деву милую.

Изабела

Вот брат мой! узнаю;  
Из гроба слышу я отцовский голос. Точно:  
Ты должен умереть; умри же беспорочно.  
Послушай, ничего тебе не утаю:  
Тот грозный судия, святоша тот жестокий,  
Чьи взоры строгие во всех родят боязнь,  
Чья избранная речь шлет отроков на казнь,  
Сам демон; сердце в нем черно, как ад глубокий,  
И полно мерзостью.

Клавдио

Наместник?

Изабела

Ад облек  
Его в свою броню. Лукавый человек!..  
Знай: если б я его бесстыдное желанье  
Решилась утолить, тогда бы мог ты жить.

Клавдио

О нет, не надобно.

Изабела

На гнусное свиданье,  
Сказал он, нынче в ночь должна я поспешить,  
Иль завтра ты умрешь.

Клавдио

Нейди, сестра.

Изабела

Брат милый!  
Бог видит: ежели одной моей могилой  
Могла бы я тебя от казни искупить,  
Не стала б более иголки дорожить  
Я жизнь мою.

Клавдио

Благодарю, друг милый!

Изабела

Так завтра, Клавдио, ты к смерти будь готов.

Клавдио

Да, так... и страсти в нем кипят с такою силой!  
Иль в этом нет греха; иль из семи грехов  
Грех это меньший.

Изабела

Как?

Клавдио

Такого прегрешенья  
Там верно не казнят. Для одного мгновенья  
Ужель себя сгубить решился б он навек?  
Нет, я не думаю. Он умный человек.  
Ах, Изабела!

Изабела

Что? что скажешь?

Клавдио

Смерть ужасна!

Изабела

И стыд ужасен.

Клавдио

Так – однако ж... умереть,  
Идти неведомо куда, во гробе тлеть  
В холодной тесноте... Увы! Земля прекрасна,  
И жизнь мила. А тут: войти в немую мглу,  
Стремглав низвергнуться в кипящую смолу,  
Или во льду застыть, иль с ветром быстротеч-  
ным  
Носиться в пустоте, пространством бесконеч-  
ным...

И всё, что грезится отчаянной мечте...  
Нет, нет: земная жизнь в болезни, в нищете,  
В печалях, в старости, в неволе... будет раем  
В сравнение с тем, чего за гробом ожидаем.

Изабела

О Боже!

Клавдио

Друг ты мой! Сестра! позволь мне жить.  
Уж если будет грех спасти от смерти брата,  
Природа извинит.

Изабела

Что смеешь говорить?  
Трус! тварь бездушная! от сестрина разврата  
Себе ты жизни ждешь!.. Кровосмеситель! нет,  
Я думать не могу, нельзя, чтоб жизнь и свет  
Моим отцом тебе даны. Прости мне, Боже!  
Нет, осквернила мать отеческое ложе,  
Коль понесла тебя. Умри. Когда бы я  
Спасти тебя могла лишь волею моею,  
То все-таки б теперь свершилась казнь твоя.  
Я тысячу молитв за смерть твою имею,  
За жизнь – уж ни одной...

## Клавдио

Сестра, стой, стой!  
Сестра, прости меня!

## VII

И узник молодой  
Удерживал ее за платье. Изабела  
От гнева своего насилу охладела,  
И брата бедного простила, и опять,  
Лаская, начала страдальца утешать.

## Часть третья

## I

Монах стоял меж тем за дверью отпертою  
И слышал разговор меж братом и сестрою.  
Пора мне вам сказать, что старый сей монах  
Не что иное был, как Дук переодетый.  
Пока народ считал его в чужих краях  
И сравнивал, шутя, с бродящею кометой,  
Скрывался он в толпе, всё видел, наблюдал  
И соглядатаем незримым посещал  
Палаты, площади, монастыри, больницы,  
Развратные дома, театры и темницы.  
Воображение живое Дук имел;  
Романы он любил и, может быть, хотел  
Халифу подражать Гаруну Аль-Рашиду.  
Младой отшельницы подслушав весь рассказ,  
В растроганном уме решил он тот же час  
Не только наказать жестокость и обиду,  
Но сладить кое-что... Он тихо в дверь вошел,  
Девицу отозвал и в уголок отвел.  
«Я слышал всё, – сказал, – ты похвалы достойна,  
Свой долг исполнила ты свято; но теперь  
Предайся ж ты моим советам. Будь покойна,  
Всё к лучшему придет; послушна будь и верь».  
Тут он ей объяснил свое предположенье  
И дал прощальное свое благословенье.

## II

Друзья! поверите ль, чтоб мрачное чело,  
Угрюмой, злой души печальное зеркало,  
Желанья женские навеки привязало  
И нежной красоте понравиться могло?  
Не чудно ли? Но так. Сей Анджело надменный,  
Сей злобный человек, сей грешник – был любим

Душою нежною, печальной и смиренной,  
 Душой, отверженной мучителем своим.  
 Он был давно женат. Летунья легкокрыла,  
 Младой его жены молва не пощадила,  
 Без доказательства насмешливо коря;  
 И он ее прогнал, надменно говоря:  
 «Пускай себе молвы неправо обвиненье,  
 Нет нужды. Не должно коснуться подозренье  
 К супруге кесаря». С тех пор она жила  
 Одна в предместьи, печально изнывая.  
 Об ней-то вспомнил Дук, и дева молодая  
 По наставлению монаха к ней пошла.

### III

Марьяна под окном за пряжею сидела  
 И тихо плакала. Как ангел, Изабела  
 Пред ней нечаянно явилась у дверей.  
 Отшельница была давно знакома с ней  
 И часто утешать несчастную ходила.  
 Монаха мысль она ей тотчас объяснила.  
 Марьяна, только лишь настанет ночи мгла,  
 К палатам Анджели идти должна была,  
 В саду с ним встретиться под каменной оградой  
 И, наградив его условленной наградой,  
 Чуть внятным шепотом, прощаяся, шепнуть  
 Лишь только то: *теперь о брате не забудь*.  
 Марьяна бедная сквозь слезы улыбалась,  
 Готовилась дрожа – и дева с ней рассталась.

### IV

Всю ночь в темнице Дук последствий ожидал  
 И, сидя с Клавдио, страдальца утешал.  
 Пред светом снова к ним явилась Изабела.  
 Всё шло как надобно: сейчас у ней сидела  
 Марьяна бледная, с успехом возвратясь  
 И мужа обманув. Денница занялась –  
 Вдруг запечатанный приказ приносит вестник  
 Начальнику тюрьмы. Читают: что ж? Наместник  
 Немедля узника приказывал казнить  
 И голову его в палаты предьявить.

### V

Замыслив новую затею, Дук представил  
 Начальнику тюрьмы свой перстень и печать  
 И казнь остановил, а к Анджели отправил  
 Другую голову, велев обрить и снять  
 Ее с широких плеч разбойника морского,

Горячкой в ту же ночь умершего в тюрьме,  
А сам отправился, дабы вельможу злого,  
Столь гнусные дела творящего во тьме,  
Пред светом обличить.

## VI

Едва молва невнятно

О казни Клавдио успела пробежать,  
Пришла другая весть. Узнали, что обратно  
Ко граду едет Дук. Народ его встречать  
Толпами кинулся. И Анджело смущенный,  
Грязомый совестью, предчувствием стесненный,  
Туда же поспешил. Улыбкой добрый Дук  
Приветствует народ, теснящийся вокруг,  
И дружно к Анджело протягивает руку.  
И вдруг раздался крик – и прямо в ноги Дуку  
Девица падает. «Помилуй, государь!  
Ты щит невинности, ты милости алтарь,  
Помилуй!...» – Анджело бледнеет и трепещет,  
И взоры дикие на Изабелу мечет...  
Но победил себя. Оправиться успев,  
«Она помешана, – сказал он, – видев брата,  
Приговоренного на смерть. Сия утрата  
В ней разум потрясла...»

Но, обнаружив гнев

И долго скрытое в душе негодование,  
«Всё знаю, – молвил Дук, – всё знаю! Наконец  
Злодейство на земле получит воздаянье.  
Девица, Анджело! за мною, во дворец!»

## VII

У трона во дворце стояла Мариана  
И бедный Клавдио. Злодей, увидя их,  
Затрепетал, челом поникнул и утих;  
Всё объяснилось, и правда из тумана  
Возникла; Дук тогда: «Что, Анджело, скажи,  
Чего достоин ты?» Без слез и без боязни,  
С урюмой твердостью тот отвечает: «Казни.  
И об одном молю: скорее прикажи  
Вести меня на смерть».

– «Иди, – сказал властитель, –  
Да гибнет судия – торгаш и оболъститель».  
Но бедная жена, к ногам его упав,  
«Помилуй, – молвила, – ты, мужа мне отдав,  
Не отымай опять; не смейся надо мною».  
– «Не я, но Анджело смеялся над тобою, –  
Ей Дук отвечает, – но о твоей судьбе  
Сам буду я пешишь. Останутся тебе

Его сокровища, и будешь ты награда  
 Супругу лучшему». – «Мне лучшего не надо.  
 Помилуй, государь! не будь неумолим,  
 Твоя рука меня соединила с ним!  
 Ужели для того так долго я вдовела?  
 Он человечеству свою принес лишь дань.  
 Сестра! спаси меня! друг милый, Изабела!  
 Проси ты за него, хоть на колени стань,  
 Хоть руки подыми ты молча».

Изабела

Душой о грешнике, как ангел, пожалела  
 И, пред властителем колена преклоня,  
 «Помилуй, государь, – сказала. – За меня  
 Не осуждай его. Он (сколько мне известно,  
 И как я думаю) жил праведно и честно,  
 Покамест на меня очей не устремил.  
 Прости же ты его!»

И Дук его простил.<sup>75</sup>

1833

### Дневники 1833–1835 гг.

1833

23 [ноября] <...> Вчера играли здесь Les enfants d'Edouard,<sup>76</sup> и с большим успехом. Трагедия, говорят, будет запрещена. Экерн удивляется смелости применений... Блай их не заметил. Блай, кажется, прав.

30 ноября. Вчера бал у Бутурлина (Жомини). Любопытный разговор с Блайем: зачем у вас флот в Балтийском море? для безопасности Петербурга? но он защищен Кронштадтом. Игрушка!

– Долго ли вам распространяться? (Мы смотрели карту постепенного распространения России, составленную Бутурлиным). Ваше место Азия; там совершите вы достойный подвиг сивилизации... etc.<...>

1834

2 июня. Много говорят в городе об Медеме, назначенном министром в Лондон. Это дипломатические *суспиции*, как говорят городничихи. Англия не посылала нам посланника; мы отзываем Ливена. Блай недоволен. Он говорит. – Mais Medème c'est un tout jeune homme, c'est à dire un blanc-bec. [Но ведь Медем совсем молодой человек, т.е. желторотый юнец]. Государь не хотел принять Каннинга (Strangford),<sup>77</sup> потому что, будучи великим князем, имел с ним какую-то неприятность. <...>

18-го дек. Третьего дня был я наконец в Аничковом. Опишу все в подробности, в пользу будущего Вальтер-Скотта. <...> Государь очень прост в своем обращении, совершенно по домашнему. Тут же были молодые сыновья Кеннинга и Веллингтона.<sup>78</sup> У Дуро спросили, как находит он бал. – Je m'ennuie, – отвечал он. – Pourquoi cela? – On est debout, et j'aime à être assis. [Мне скучно... – Это по-



чему? – Здесь стоят, а я люблю сидеть]. Я заговорил с Ленским о Мицкевиче и потом о Польше. Он прервал разговор, сказав: – *Mon cher ami, ce n'est pas ici le lieu de parler de la Pologne. Choisissez un terrain neutre, chez l'ambassadeur d'Autriche par exemple.* [Мой милый друг, здесь не место говорить о Польше. Давайте выберем какую-нибудь нейтральную территорию, например, дом австрийского посла]. Бал кончился в 1 1/2. <...>  
1835

## Путешествие из Москвы в Петербург

### Шоссе

[Из черновой редакции] <...> Я начал записки свои не для того, чтоб льстить властям, <...> но не могу не заметить, что со времен возведения на престол Романовых, от Михаила Федоровича до Николая I, правительство у нас всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно. Вот что и составляет силу нашего самодержавия. Не худо было иным европейским государствам понять эту простую истину. Бурбоны не были бы выгнаны вилами и камнями, и английская аристократия не принуждена была бы уступить радикализму.

<...> Собравшись в дорогу, вместо пирогов и холодной телятины, я хотел запастись книгою, понадеясь довольно легкомысленно на трактиры и боясь разговоров с почтовыми товарищами. В тюрьме и в путешествии всякая книга есть Божий дар, и та, которую не решитесь вы и раскрыть, возвращаясь из Английского клуба или собираясь на бал, покажется вам занимательна, как арабская сказка, если попадется вам в каземате или в поспешном дилижансе. Скажу более: в таких случаях, чем книга скучнее, тем она предпочтительнее. Книгу занимательную вы проглотите слишком скоро, она слишком врежется в вашу память и воображение; перечесть ее уже невозможно. Книга скучная, напротив, читается с расстановкою, с отдохновением – оставляет вам способность позабыться, мечтать; опомнившись, вы опять за нее принимаетесь, перечитываете места, вами пропущенные без внимания, etc. Книга скучная представляет более развлечения. Понятие о скуке весьма относительное. Книга скучная может быть очень хороша; не говорю о книгах ученых, но и об книгах, писанных с целию просто литературною. Многие читатели согласятся со мною, что Клариса очень утомительна и скучна, но со всем тем роман Ричардсонов имеет необыкновенное достоинство.<sup>79</sup>

Вот на что хороши – путешествия. <...>

### Москва

<...> Петр I не любил Москвы, где на каждом шагу встречал воспоминания мятежей и казней, закоренелую старину и упрямое сопротивление суеверия и предрассудков. <...>

[Из черновой редакции] Ныне царствующий император чаще других удостоивает Москву своим посещением, и старая столица каждый раз оживляется и моло-

дее в присутствии своего государя. Неожиданный его приезд в 1830 году, во время появления холеры, принадлежит истории.

В Англии правительство тогда только и показывается народу, когда приходит оно стучаться под окнами (taxes), собирая подать. Во Франции, когда вывозит оно свои пушки противу площадного мятежа.

<...> Московская критика с честью отличается от петербургской. Шевьрев, Киреевский, Погодин и другие написали несколько опытов, достойных стать наряду с лучшими статьями английских Reviews, между тем как петербургские журналы судят о литературе, как о музыке; о музыке как о политической экономии, т.е. наобум и как-нибудь, иногда впопад и остроумно, но большею частью неосновательно и поверхностно. <...>

### Ломоносов

<...> Радищев укоряет Ломоносова в лести и тут же извиняет его. Ломоносов наполнил торжественные свои оды высокопарною хвалою; он без обиняков называет благодетеля своего графа Шувалова своим благодетелем; он в какой-то придворной Идиллии воспевает графа К. Разумовского под именем Полидора: он стихами поздравляет графа Орлова с возвращением его из Финляндии; он пишет: *«Его сиятельство граф М.Л. Воронцов, по своей высокой ко мне милости, изволил взять от меня пробы мозаических составов для показания ея величеству»*. – Ныне все это вывелось из обыкновения. Дело в том, что расстояние от одного сословия до другого в то время еще существовало. Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал возвысить себя наглостию и запанибратством с людьми высшего состояния (хотя, впрочем, по чину, он мог быть им и равный). Но зато умел он за себя постоять и не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей. Послушайте, как пишет от этому самому Шувалову, *Предстателю Мус, высокому своему патрону*, который вздумал было над ним пошутить: «Я, ваше высокопревосходительство, не только у вельмож, но ниже у Господа моего Бога дураком быть не хочу»\*. – В другой раз, заспоря с тем же вельможею, Ломоносов так его рассердил, что Шувалов закричал: «Я отставляю тебя от Академии». – «Нет, возразил гордо Ломоносов, разве Академию от меня отставят». Вот каков был этот униженный сочинитель похвальных од и придворных идиллий!

*Patronage* (покровительство) до сей поры сохраняется в обычаях английской литературы. Почтенный Кребб<sup>80</sup>, умерший в прошлом году, поднес все свои прекрасные поэмы to his grace the Duke etc. В своих смиренных посвящениях он почтительно упоминает о милостях и высоком покровительстве, коих он удостоился etc. В России вы не встретите ничего подобного. У нас, как заметила M-me de Staël, словесностию занимались большею частью дворяне... («En Russie quelques gentilshommes se sont occupés de littérature»). Это дало особенную физиономию нашей литературе; у нас писатели не могут изыскивать милостей и покровительства у людей, которых почитают себе равными, и подносить свои сочинения вельможе или богачу, в надежде получить от него 500 рублей или перстень, украшенный драгоценными камнями. Что же из этого следует? что нынешние писатели благороднее мыслят и чувствуют, нежели мыслил и чувствовал Ломоносов и Костров? Позвольте в том усумниться. Нынче писатель, краснеющий при одной мысли по-

\* См. его письмо к графу Шувалову.

святить книгу свою человеку, который выше его двумя или тремя чинами, не стыдится публично жать руку журналисту, ошельмованному в общем мнении, но который может повредить продаже книги, или хвалебным объявлением заманить покупателей. Ныне последний из писак, готовый на всякую приватную подлость, громко проповедует независимость и пишет безыменные пасквили на людей, перед которыми расстилается в их кабинете.

К тому же с некоторых пор литература стала у нас ремесло выгодное, и публика в состоянии дать более денег, нежели его сиятельство такой-то или его высокопревосходительство такой-то. Как бы то ни было, повторяю, что формы ничего не значат, Ломоносов и Кребб достойны уважения всех честных людей, несмотря на их смиренные посвящения, а господа NN все-таки презрительны – несмотря на то, что в своих книжках они проповедают независимость и что они свои сочинения посвящают не доброду и умному вельможе, а какому-нибудь шельме и вралю, подобному им.

[Из черновой редакции] <...> Радищев говорит, что Ломоносов ни в какой отрасли наук не проложил новых следов, и тут же сравнивает его – с лордом Беконем! Таковое странное понятие имел 18-й век о величайшем уме новейших времен, о человеке, произведшем в науках сильнейший переворот и давшим им то направление, по которому текут они ныне.

Если Ломоносова можно назвать русским Беконем, то это разве в таком же смысле, как Хераскова называли русским Гомером<sup>81</sup>.

К чему эти прозвища? Ломоносов есть русский Ломоносов – этого с него, право, довольно.

### Русская изба

В Пешках (на станции, ныне уничтоженной) Радищев съел кусок говядины и выпил чашку кофею. Он пользуется сим случаем, дабы упомянуть о несчастных африканских невольниках, и тужит о судьбе русского крестьянина, не употребляющего сахара. Все это было тогдашним модным красноречием. Но замечательно описание русской избы:

«Четыре стены, до половины покрытые, так как и весь потолок, сажею; пол в щелях, на вершок по крайней мере поросший грязью; печь без трубы, но лучшая защита от холода, и дым, всякое утро зимою и летом наполняющий избу; окончины, в коих натянутый пузырь, смеркающийся в полдень, пропускал свет; горшка два или три (счастливая изба, коли в одном из них всякий день есть пустые штты!). Деревянная чашка и кружки, тарелками называемые; стол, топором срубленный, которой скоблят скребком по праздникам. Корыто кормить свиней, или телят, буде есть, спать с ними вместе, глотая воздух, в коем горящая свеча как будто в тумане или за завесою кажется. К счастью, кадка с квасом на уксус похожим, и на дворе баня, в коей, коли не парятся, то спит скотина. Посконная рубаха, обувь, данная природою, онучки с лаптями для выхода».

Наружный вид русской избы мало переменился со времени Мейерберга. Посмотрите на рисунки, присовокупленные к его *Путешествию*. Ничто так не похоже на русскую деревню в 1662 году, как русская деревня в 1833 году. Изба, мельница, забор – даже эта елка, это печальное тавро северной природы – ничто, кажется, не изменилось. Однако произошли улучшения, по крайней мере на больших дорогах: труба в каждой избе; стекла заменили натянутый пузырь; вообще более чистоты, удобства, того, что англичане называют *comfort*. Очевидно, что Радищев начертил карикатуру; но он упоминает о бане и о квасе как о необходимостях

русского быта. Это уже признак довольства. Замечательно и то, что Радищев, заставив свою хозяйку жаловаться на голод и неурожай, оканчивает картину нужды и бедствия сею чертою: *и начала сажать хлебы в печь.*

Фон-Визин, лет за пятнадцать пред тем путешествовавший по Франции, говорит, что, по чистой совести, судьба русского крестьянина показалась ему счастливей судьбы французского земледельца. Верю. <...> Судьба французского крестьянина не улучшилась в царствование Людовика XV и его преемника...

Прочтите жалобы английских фабричных работников: волоса встанут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет о сукнах г-на Смита или об иголках г-на Джаксона. И заметьте, что все это есть не злоупотребления, не преступления, но происходит в строгих пределах закона. Кажется, что нет в мире несчастнее английского работника, но посмотрите, что делается там при изобретении новой машины, избавляющей вдруг от каторжной работы пять тысяч или шесть народу и лишаящей их последнего средства к пропитанию... У нас нет ничего подобного. Повинности вообще не тягостны. Подушная платится миром; барщина определена законом; оброк не разорителен (кроме как в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности усиливает и раздражает корыстолюбие владельцев). Помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своего крестьянина доставать оный, как и где он хочет. Крестьянин промышляет, чем вздумает и уходит иногда за 2000 верст выработать себе деньги. Злоупотреблений везде много; уголовные дела везде ужасны.

Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи? О его смелости и смышленности и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны. Путешественник ездит из края в край по России, не зная ни одного слова по-русски, и везде его понимают, исполняют его требования, заключают с ним условия. Никогда не встретите вы в нашем народе того, что французы называют *un badaud*; никогда не заметите в нем ни грубого удивления, ни невежественного презрения к чужому. В России нет человека, который бы не имел своего собственного жилища. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности. Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу: каждую субботу ходит он в баню; умывается по несколько раз в день... Судьба крестьянина улучшается со дня на день по мере распространения просвещения... Благосостояние крестьян тесно связано с благосостоянием помещиков; это очевидно для всякого. Конечно: должны еще произойти великие перемены; но не должно торопить времени и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества...<sup>82</sup>

### О цензуре

[Из черновой редакции] <...> Было время (слава Богу, оно уже прошло и, вероятно, уже не возвратится), что наши писатели были преданы на произвол цензуры самой бессмысленной: некоторые из тогдашних решений могут показаться выдумкой и клеветою. Например, какой-то стихотворец говорил о небесных глазах своей любезной. Цензор велел ему, вопреки просодии, поставить вместо небес-

ных – голубые, ибо слово небо приежится иногда в смысле высшего промысла! В славной балладе Жуковского назначается свидание накануне Иванова дня; цензор нашел, что в такой великий праздник грешить неприлично, и никак не желал пропустить баллады Вальтер-Скотта<sup>83</sup>. Некто критиковал трагедию Сумарокова; цензор вымарал всю статью и написал на поле: Переменить, соображаясь со мнением публики... – Спрашивается, каков был цензор и каково было писателям.

### Этикет

Власть и свободу сочетать должно на взаимную пользу.

Истина неоспоримая, кою Радищев заключает начертание о уничтожении придворных чинов, исполненное мыслей, большею частию ложных, хотя и пошлых.

Предполагать унижение в обрядах, установленных этикетом, есть просто глупость. Английский лорд, представляясь своему королю, становится на колени и целует ему руку. Это не мешает ему быть в оппозиции, если он того хочет. Мы всякий день подписываемся покорнейшими слугами, и кажется, никто из этого не заключал, чтобы мы просились в камердинеры. <...>

1834

### О ничтожестве литературы русской

<...> В начале 18-го столетия французская литература обладала Европою. Она должна была иметь на Россию долгое и решительное влияние. Прежде всего надлежит нам ее исследовать. <...>

Романтическая поэзия пышно и величественно расцветала по всей Европе, Германия давно имела свои Нибелунги, Италия – свою тройственную поэму, Португалия – Лузиаду, Испания – Лопе де Вега, Кальдерона и Сервантеса, Англия – Шекспира, а у французов Вильон воспевал в площадных куплетах кабаки и виселицу и почитался первым народным поэтом! <...>

[Из черновой редакции] Некто у нас сказал, что французская словесность родилась в передней и дальше гостиной не доходила. <...> Это не мнение, но истина историческая, буквально выраженная: Марот был камердинером Франциска I-го (valet de chambre), Мольер – камердинером Людовика XIV, Буало, Расин и Вольтер (особенно Вольтер), конечно, дошли до гостиной, но все-таки через переднюю. Об новейших поэтах говорить нечего. Они конечно на площади, с чем их и поздравляем. <...>

Ни один из французских поэтов не дерзнул быть самобытным, ни один, подобно Мильтону, не отрекся от современной славы. <...>

Ничто не могло быть противоположное поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя. Она была направлена против господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов, а любимым орудием ее была ирония холодная и осторожная и насмешка бешеная и площадная. Вольтер, великан сей эпохи, овладел и стихами, как важной отраслю умственной деятельности человека. <...>

Влияние Вольтера было неимоверно. Следы великого века (как называли французы век Людовика XIV) исчезают. Истощенная поэзия превращается в мелкие игрушки остроумия; роман делается скучною проповедью или галлереей соблазнительных картин.

Все возвышенные умы следуют за Вольтером. Задумчивый Руссо провозглашается его учеником; пылкий Дидрот есть самый ревностный из его апостолов. Англия в лице Юма, Гиббона и Вальполя<sup>84</sup> приветствует Энциклопедию. Европа едет в Ферней на поклонение. Екатерина вступает с ним в дружескую переписку. Фридрих с ним ссорится и мирится. Общество ему покорено. Наконец Вольтер умирает в Париже, благословляя внука Франклина и приветствуя Новый Свет словами, дотоле неслыханными!..

Смерть Вольтера не останавливает потока. Министры Людовика XVI нисходят в арену с писателями. Бомарше влечет на сцену, раздевает донага и терзает всё, что еще почитается неприкосновенным. Старая монархия хохочет и рукоплещет.

Старое общество созрело для великого разрушения. Всё еще спокойно, но уже голос молодого Мирабо, подобно отдаленной буре, глухо гремит из глубины темниц, по которым он скитается...

Европа, оглушенная, очарованная славою французских писателей, преклоняет к ним подобострастное внимание. Германские профессора с высоты кафедры провозглашают правила французской критики. Англия следует за Францией на поприще философии, Ричардсон, Фильдинг и Стерн поддерживают славу прозаического романа. Поэзия в отечестве Шекспира и Мильтона становится суха и ничтожна, как и во Франции; Италия отрекается от гения Данте, Метастазии подражает Расину.

Обратимся к России.

...  
1834

## Русский Пелам

### Глава I

Я начинаю помнить себя с самого нежного младенчества, и вот сцена, которая живо сохранилась в моем воображении.

Нянька приносит меня в большую комнату, слабо освещенную свечью под зонтиком. На постеле под зелеными занавесами лежит женщина вся в белом; отец мой берет меня на руки. Она целует меня и плачет. Отец мой рыдает громко, я пугаюсь и кричу. Няня меня выносит говоря: «Мама хочет бай-бай». Помню также большую суматоху, множество гостей, люди бегают из комнаты в комнату. Солнце светит во все окошки, и мне очень весело. Монах с золотым крестом на груди благословляет меня; в двери выносят длинный красный гроб. Вот всё, что похороны матери оставили у меня в сердце. Она была женщиною необыкновенной по уму и сердцу, как узнал я после по рассказам людей, не знавших ей цены.

Тут воспоминания мои становятся сбивчивы. Я могу дать ясный отчет о себе не прежде как уж с осьмилетнего моего возраста. Но прежде должен я поговорить о моем семействе.

Отец мой был пожалован сержантом, когда еще бабушка была им брюхата. Он воспитывался дома до 18-ти лет. Учитель его, м-г Декор, был простой и добрый старичок, очень хорошо знавший французскую орфографию. Неизвестно, были ли у отца другие наставники; но отец мой кроме французской орфографии, кажется, ничего основательно не знал. Он женился против воли своих родителей на девушке, которая была старше его несколькими годами, в тот же год вышел в отставку и уехал в Москву. Старый Савельяч, его камердинер, сказывал мне, что первые года супружества были счастливы. Мать моя успела примирить мужа с его семейством, в котором ее полюбили. Но легкомысленный и непостоянный характер отца моего не позволил ей насладиться спокойствием и счастьем. Он вошел в связь с женщиной, известной в свете своей красотой и любовными похождениями. Она для него развелась с своим мужем, который уступил ее отцу моему за 10 000 и потом обедал у нас довольно часто. Мать моя знала всё, и молчала. Душевные страдания расстроили ее здоровье. Она слегла и уже не встала.

Отец имел 5000 душ. Следственно, был из тех дворян, которых покойный гр. Шереметев называл мелкопоместными, удивляясь от чистого сердца, каким образом они могут жить! – Дело в том, что отец мой жил не хуже графа Шереметева, хотя был ровно в 20 раз беднее. Москвичи помнят еще его обеды, домашний театр и роговую музыку. Года два после смерти матери моей Анна Петровна Вирлацкая, виновница этой смерти, поселилась в его доме. Она была, как говорится, видная баба, впрочем уже не в первом цвете молодости. Мне подвели мальчика в красной курточке с манжетами и сказали, что он мне братец. Я смотрел на него во все глаза. Мишенька шаркнул направо, шаркнул налево и хотел поиграть моим ружьцом; я вырвал игрушку из его рук, Мишенька заплакал, и отец поставил меня в угол, подарив братцу мое ружье.

Такое начало не предвещало мне ничего доброго. И в самом деле пребывание мое под отеческою кровлею не оставило ничего приятного в моем воображении. Отец конечно меня любил, но вовсе обо мне не беспокоился и оставил меня на попечение французов, которых беспрестанно принимали и отпускали. Первый мой гувернер оказался пьяницей; второй, человек неглупый и не без сведений, имел такой бешеный нрав, что однажды чуть не убил меня поленом за то, что пролил я чернила на его жилет; третий, проживший у нас целый год, был сумасшедший, и в доме тогда догадались о том, когда пришел он жаловаться Анне Петровне на меня и на Мишеньку за то, что мы подговорили клопов со всего дому не давать ему покою и что сверх того чертенок повадился вить гнезда в его колпаке. Прочие французы не могли ужиться с Анной Петровной, которая не давала им вина за обедом или лошадей по воскресениям; сверх того им платили очень неисправно. Виноватым остался я: Анна Петровна решила, что ни один из моих гувернеров не мог сладить с таким несносным мальчишкою. Впрочем и то правда, что не было из них ни одного, которого бы в две недели по его вступлению в должность не обратил я в домашнего шута; с особенным удовольствием вспоминаю о мосье Гроже, пятидесятилетнем почтенном женевце, которого уверил я, что Анна Петровна была в него влюблена. Надобно было видеть его целомудренный ужас с некоторой примесью лукавого кокетства, когда Анна Петровна косо поглядывала на него за столом, говоря вполголоса: «экой обжора!»

Я был резов, ленив и вспльчив, но чувствителен и честолюбив, и ласкою от меня можно было добиться всего; к несчастью, всякий вмешивался в мое воспитание, и никто не умел за меня взяться. Над учителями я смеялся и проказил; с Анной Петровной бранился зуб за зуб; с Мишенькой имел беспрестанные ссоры и драки. С отцом доходило часто дело до бурных объяснений, которые с обеих сто-

рон оканчивались слезами. Наконец Анна Петровна уговорила его отослать меня в один из немецких университетов... Мне тогда было 15 лет.

## Глава II

Университетская жизнь моя оставила мне приятные воспоминания, которые, если их разобрать, относятся к происшествиям ничтожным, иногда и неприятным; но молодость великий чародей: дорого бы я дал, чтоб опять сидеть за кружкой пива в облаках табачного дыма, с дубиною в руках и в засаленной бархатной фуражке на голове. Дорого бы я дал за мою комнату, вечно полную народу, и Бог знает какого народу; за наши латинские песни, студенческие поединки и ссоры с филистрами!

Вольное университетское учение принесло мне более пользы чем домашние уроки, но вообще выучился я порядочно только фехтованию и деланию пунша. Из дому получал я деньги в разные неположенные сроки. Это приучило меня к долгам и к беспечности. Прошло три года, и я получил от отца из Петербурга приказание оставить университет и ехать в Россию служить. Несколько слов о расстроенном состоянии, о лишних расходах, о перемене жизни показались мне странными, но я не обратил на них большого внимания. При отъезде моем дал я прощальный пир, на котором поклялся я быть вечно верным дружбе и человечеству и никогда не принимать должности цензора, и на другой день с головной болью и с изгагою отправился в дорогу.<sup>85</sup>

1834—1835

## Папесса Иоанна

### Acte I

La papesse, fille d'un honnête artisan, étonné du son savoir, la mère, vulgaire, n'y voyant rien de bon. Gilbert invite un savant à venir voir sa fille – le prodige de famille. – Préparatifs – où la mère est seule à faire tout.

*La passion du savoir.*

Le savant (*le démon du savoir*) arrive au milieu de tout le monde invité par Gilbert – Il ne parle qu'avec Jeanne et s'en va. Comméragage des femmes, joie du père – soucis et orgueil de la fille. Elle fuit pour aller en Angleterre étudier à l'université.

*Elle devant St. Simon. L'ambition.*

### Acte II

Jeanne à l'université, sous le nom de Jean de Mayence. Elle se lie avec un jeune gentilhomme espagnol. – Amour, jalousie, duel – *en récit*. Jeanne soutient une thèse et est faite docteur.

Jeanne prieur d'un couvent; règle austère qu'elle y établit. Les moines se plaignent...

Jeanne à Rome, cardinal; le pape meurt. – Conclave, – elle est faite pape.



## Acte III

Jeanne commence à s'ennuyer. Arrive l'ambassadeur d'Espagne, son condisciple. Leur reconnaissance. Elle le menace de l'Inquisition, et lui d'un éclat. Il pénètre jusqu'à elle. Elle devient sa maîtresse. Elle accouche entre le Colisée et le couvent de... Le diable l'emporte.

\* \* \*

Si c'est un drame, il rappellera trop le Faust – il vaut mieux en faire un poème dans le style de Christabel, ou bien en octaves.<sup>86</sup>  
1834–1835

## [Действие I]

Папесса, дочь честного ремесленника, который дивится ее учености, простоватая мать, не видящая в этом ничего хорошего. Жильбер приглашает ученого посмотреть на его дочь – семейное чудо. Приготовления, в которых матери приходится всё делать одной.

*Страсть к знанию.*

Ученый (*демон знания*) является среди всех собравшихся, по приглашению Жильбера. – Он беседует только с Жанной и уходит. Пересуды женщин, радость отца – заботы и гордость дочери. Она убегает из дому, чтобы отправиться в Англию учиться в университете.

*Она перед св. Симоном. Честолюбие.*

## Действие II

Жанна в университете под именем Иоанна Майнцского. Она сближается с молодым испанским дворянином. – Любовь, ревность, дуэль – *в рассказе*. Жанна защищает диссертацию и становится доктором.

Жанна в качестве настоятеля монастыря; строгий устав, который она там вводит. Монахи жалуются...

Жанна в Риме, кардиналом, папа умирает – Конклав – ее делают папой.

## Действие III

Жанна начинает скучать. Появляется испанский посланник, ее товарищ в годы ученья. Они узнают друг друга. Она грозит ему инквизицией, а он разоблачением. Он пробирается к ней. Она становится его любовницей. Она рождает между Колизеем и монастырем... Дьявол ее уносит.

\* \* \*

Если это будет драмой, она слишком будет напоминать «Фауста» – лучше сделать из этого поэму в стиле «Кристалель», или же в октавах.]

## Полководец

У русского царя в чертогах есть палата:  
 Она не золотом, не бархатом богата;  
 Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;  
 Но сверху до низу, во всю длину, кругом,  
 Своєю кистию свободной и широкой  
 Ее разрисовал художник быстроокой.  
 Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадон,  
 Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен,  
 Ни плясок, ни охот, — а всё плащи, да шпаги,  
 Да лица, полные воинственной отваги.  
 Толпою тесною художник поместил  
 Сюда начальников народных наших сил,  
 Покрытых славою чудесного похода  
 И вечной памятью двенадцатого года.  
 Нередко медленно меж ими я брожу  
 И на знакомые их образы гляжу,  
 И, мнится, слышу их воинственные клики.  
 Из них уж многих нет; другие, коих лики  
 Еще так молоды на ярком полотне,  
 Уже состарились и никнут в тишине  
 Главою лавровой...

Но в сей толпе суровой  
 Один меня влечет всех больше. С думой новой  
 Всегда остановлюсь пред ним — и не свожу  
 С него моих очей. Чем долее гляжу,  
 Тем более томим я грустию тяжелой.

Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,  
 Высоко лоснится, и, мнится, залегла  
 Там грусть великая. Кругом — густая мгла;  
 За ним — военный стан. Спокойный и угрюмый,  
 Он, кажется, глядит с презрительною думой.  
 Свою ли точно мысль художник обнажил,  
 Когда он таковым его изобразил,  
 Или невольное то было вдохновенье, —  
 Но Доу дал ему такое выраженье.

О вождь несчастливый!... Суров был жребий твой:  
 Всё в жертву ты принес земле тебе чужой.  
 Непроницаемый для взгляда черни дикой,  
 В молчаньи шел один ты с мыслию великой,  
 И в имени твоём звук чуждый не взлюбя,  
 Своими криками преследуя тебя,  
 Народ, таинственно спасаемый тобою,  
 Ругался над твоей священной сединою.  
 И тот, чей острый ум тебя и постигал,  
 В угоду им тебя лукаво порицал...  
 И долго, укреплен могущим убежденьем,  
 Ты был неколебим пред общим заблужденьем;

И на полупути был должен наконец  
 Безмолвно уступить и лавровый венец,  
 И власть, и замысел, обдуманый глубоко, –  
 И в полковых рядах сокрыться одиноко.  
 Там, устарелый вождь, как ратник молодой,  
 Свинца веселый свист зашпавший впервой,  
 Бросался ты в огонь, ища желанной смерти, –  
 Вотще! –

О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха!  
 Жрецы минутного, поклонники успеха!  
 Как часто мимо вас проходит человек,  
 Над кем ругается слепой и буйный век,  
 Но чей высокий лик в грядущем поколенье  
 Поэта приведет в восторг и в умиленье!<sup>87</sup>  
 1835

## 1.

На Испанию родную  
 Призвал мавра Юлиан.  
 Граф за личную обиду  
 Мстить решился королю.  
 Дочь его Родрик похитил,  
 Обесчестил древний род;  
 Вот за что отчизну предал  
 Раздраженный Юлиан.  
 Мавры хлынули потоком  
 На испанские брега.  
 Царство готфов миновалось,  
 И с престола пал Родрик.  
 Готфы пали не бесславно:  
 Храбро билися они,  
 Долго мавры сомневались,  
 Одолеет кто кого.  
 Восемь дней сраженье длилось;  
 Спор решен был наконец:  
 Был на поле битвы пойман  
 Конь любимый короля;  
 Шлем и меч его тяжелый  
 Были найдены в пыли.  
 Короля почли убитым,  
 И никто не пожалел.  
 Но Родрик в живых остался,  
 Бился он все восемь дней –  
 Он сперва хотел победы,  
 Там уж смерти лишь алкал.

И кругом свистали стрелы,  
 Не касаяся его,  
 Мимо дротики летали,  
 Шлема меч не рассекал.

Напоследок, утомившись,  
 Соскочил с коня Родрик,  
 Меч с запекшеюся кровью  
 От ладони отклеил,

Бросил об земь шлем пернатый  
 И блестящую броню.  
 И спасенный мраком ночи  
 С поля битвы он ушел.

## II.

От полей кровавой битвы  
 Удаляется Родрик;  
 Короля опередила  
 Весть о гибели его.

Стариков и бедных женщин  
 На распустьях видит он;  
 Все толпой бегут от мавров  
 К укрепленным городам.

Все, рыдая, молят Бога  
 О спасеньи христиан,  
 Все Родрика проклинают;  
 И проклятья слышит он.

И с поникшею главою  
 Мимо их пройти спешит,  
 И не смеет даже молвить:  
 Помолитесь за него.

Наконец на берег моря  
 В третий день приходит он,  
 Видит темную пещеру  
 На пустынном берегу.

В той пещере он находит  
 Крест и заступ – а в углу  
 Труп отшельника и яму,  
 Им изрытую давно.

Тленья трупа не коснулось,  
 Он лежит окостенев,  
 Ожидая погребенья  
 И молитвы христиан.

И с мольбою об усопшем  
 Схоронил его король,

И в пещере поселился  
Над могилою его.

Он питаться стал плодами  
И водою ключевой;  
И себе могилу вырыл,  
Как предшественник его.

Короля в уединенье  
Стал лукавый искушать,  
И виденьями ночными  
Краткий сон его мутить.

Он проснется с содроганьем,  
Полон страха и стыда;  
Упоение соблазна  
Сокрушает дух его.

Хочет он молиться Богу  
И не может. Бес ему  
Шепчет в уши звуки битвы  
Или страстные слова.

Он в унынии проводит  
Дни и ночи недвижим,  
Устремив глаза на море,  
Помяная старину.

### III.

Но отшельник, чьи останки  
Он усердно схоронил,  
За него перед Всевышним  
Заступился в небесах.

В сновиденье благодатном  
Он явился королю,  
Белой ризою одеян  
И сияньем окружен.

И король, объятый страхом,  
Ниц повергся перед ним,  
И вещал ему угодник:  
«Встань – и миру вновь явись».

Ты венец утратил царский,  
Но Господь руке твоей  
Даст победу над врагами,  
А душе твоей покой».

Пробудясь, Господню волю  
Сердцем он уразумел,  
И, с пустынею расставшись,<sup>88</sup>  
В путь отправился король.  
1835

## Странник

### I.

Однажды, странствуя среди долины дикой,  
 Незапно был объят я скорбию великой  
 И тяжким бременем подавлен и согбен,  
 Как тот, кто на суде в убийстве уличен.  
 Потупя голову, в тоске ломая руки,  
 Я в воплях изливал души пронзенной муки  
 И горько повторял, метаясь как больной:  
 «Что делать буду я? Что станется со мной?»

### II.

И так я, сетуя, в свой дом пришел обратно.  
 Уныние мое всем было непонятно.  
 При детях и жене сначала я был тих  
 И мысли мрачные хотел таить от них;  
 Но скорбь час от часу меня стесняла боле;  
 И сердце наконец раскрыл я поневоле.

«О горе, горе нам! Вы, дети, ты жена! –  
 Сказал я, – ведайте: моя душа полна  
 Тоской и ужасом, мучительное бремя  
 Тягчит меня. Идет! уж близко, близко время:  
 Наш город пламени и ветрам обречен;  
 Он в угли и золу вдруг будет обращен,  
 И мы погибнем все, коль не успеем вскоре  
 Обрести убежище; а где? о горе, горе!»

### III.

Мои домашние в смущение пришли  
 И здравый ум во мне расстроеным почли.  
 Но думали, что ночь и сна покой целебный  
 Охолодят во мне болезни жар враждебный.  
 Я лег, но во всю ночь всё плакал и вздыхал  
 И ни на миг очей тяжелых не смыкал.  
 Поутру я один сидел, оставя ложе.  
 Они пришли ко мне; на их вопрос я то же,  
 Что прежде, говорил. Тут ближние мои,  
 Не доверяя мне, за должное почли  
 Прибегнуть к строгости. Они с ожесточеньем  
 Меня на правый путь и бранью и презреньем  
 Старались обратить. Но я, не внемля им,  
 Всё плакал и вздыхал, унынием тесним.  
 И наконец они от крика утомились  
 И от меня, махнув рукою, отступились  
 Как от безумного, чья речь и дикий плач  
 Докучны, и кому суровый нужен врач.

## IV.

Пошел я вновь бродить – уныньем изнывая  
 И взоры вкруг себя со страхом обращая,  
 Как узник, из тюрьмы замысливший побег,  
 Иль путник, до дождя спешащий на ночлег.  
 Духовный труженик – влача свою веригу,  
 Я встретил юношу, читающего книгу.  
 Он тихо поднял взор – и спросил меня,  
 О чем, бродя один, так горько плачу я?  
 И я в ответ ему: «Познай мой жребий злобный:  
 Я осужден на смерть и позван в суд загробный –  
 И вот о чем крушусь: к суду я не готов,  
 И смерть меня страшит.»

«Коль жребий твой таков, –  
 Он возразил, – и ты так жалок в самом деле,  
 Чего ж ты ждешь? зачем не убежишь отселе?»  
 И я: «Куда ж бежать? какой мне выбрать путь?»  
 Тогда: «Не видишь ли, скажи, чего-нибудь» –  
 Сказал мне юноша, даль указуя перстом.  
 Я оком стал глядеть болезненно-отверстым,  
 Как от бельма врачом избавленный слепец.  
 «Я вижу некий свет», – сказал я наконец.  
 «Иди ж, – он продолжал: – держись сего ты света;  
 Пусть будет он тебе единственная мета,  
 Пока ты тесных врат спасенья не достиг,  
 Ступай!» – И я бежать пустился в тот же миг.

## V.

Побег мой произвел в семье моей тревогу,  
 И дети и жена кричали мне с порогу,  
 Чтоб воротился я скорее. Крики их  
 На площадь привлекли приятелей моих;  
 Один бранил меня, другой моей супруге  
 Советы подавал, иной жалел о друге,  
 Кто поносил меня, кто на смех подымал,  
 Кто силой воротить соседям предлагал;  
 Иные уж за мной гнались; но я тем боле  
 Спешил перебежать городовое поле,  
 Дабы скорей узреть – оставя те места,  
 Спасенья верный путь и тесные врата.<sup>89</sup>  
 1835

О бедность! затвердил я наконец  
 Урок твой горький! Чем я заслужил  
 Твое гоненье, властелин враждебный,  
 Довольства враг, суровый сна мутитель?..  
 Что делал я, когда я был богат,  
 О том упоминать я не намерен:  
 В молчании добро должно твориться,  
 Но нечего об этом толковать.  
 Здесь пищу я найду для дум моих,  
 Я чувствую, что не совсем погибнул  
 Я с участью моей.<sup>90</sup>  
 1835

То было вскоре после боя,  
 Как счастье бросило героя,  
 И рать побитая кругом  
 Лежала...<sup>91</sup>  
 1835

Как редко плату получает  
 Великий добрый человек

В кой-то век

\* \* \*

За все заботы и досады  
 (И то дивиться всякий рад!)  
 Берет достойные награды  
 Или достоин сих наград.<sup>92</sup>  
 1835

### Сцены из рыцарских времен

<...>

Франц

Воротился ночью мельник...  
 Женка! что за сапоги?  
 Ах ты, пьяница, бездельник!  
 Где ты видишь сапоги?  
 Иль мутит тебя лукавый?  
 Это ведра. – Ведро? право? –  
 Вот уж сорок лет живу,  
 Ни во сне, ни на яву  
 Не видал до этих пор  
 Я на ведрах медных шпор. <...><sup>93</sup>  
 1835



## Египетские ночи

## Глава II

&lt;...&gt;

– Вот вам тема, – сказал ему Чарский: – поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением.

Глаза итальянца засверкали, он взял несколько аккордов, гордо поднял голову, и пылкие строфы, выражение мгновенного чувства, стройно излетели из уст его... Вот они, вольно переданные одним из наших приятелей со слов, сохранившихся в памяти Чарского.

Поэт идет: открыты вежды,  
 Но он не видит никого;  
 А между тем за край одежды  
 Прохожий дергает его...  
 «Скажи: зачем без цели бродишь?  
 Едва достиг ты высоты,  
 И вот уж долу взор низводишь  
 И низойти стремишься ты.  
 На стройный мир ты смотришь смутно;  
 Бесплодный жар тебя томит;  
 Предмет ничтожный поминутно  
 Тебя тревожит и манит.  
 Стремиться к небу должен гений,  
 Обязан истинный поэт  
 Для вдохновенных песнопений  
 Избрать возвышенный предмет».  
 – Зачем кружится ветр в овраге,  
 Подъемлет лист и пыль несет,  
 Когда корабль в недвижной влаге  
 Его дыханья жадно ждет?  
 Зачем от гор и мимо башен  
 Летит орел, тяжел и страшен,  
 На чухлый пень? Спроси его.  
 Зачем арапа своего  
 Младая любит Дездемона,  
 Как месяц любит ночи мглу?  
 Затем, что ветру и орлу  
 И сердцу девы нет закона.  
 Таков поэт: как Аквилон,  
 Что хочет, то и носит он –  
 Орлу подобно, он летает  
 И, не спросясь ни у кого,  
 Как Дездемона, избирает  
 Кумир для сердца своего.

&lt;...&gt;

## Глава III

<...> Импровизатор сошел опять с подмостков, держа в руках урну, и спросил: «Кому угодно будет вынуть тему?» Импровизатор обвел умоляющим взглядом первые ряды стульев. Ни одна из блестящих дам, тут сидевших, не тронулась. Импровизатор, не привыкший к северному равнодушию, казалось, страдал... вдруг заметил он в стороне поднявшуюся ручку в белой маленькой перчатке; он с живостью оборотился и подошел к молодой величавой красавице, сидевшей на краю второго ряда. Она встала безо всякого смущения и со всевозможной простотою опустила в урну аристократическую ручку и вынула сверток.

– Извольте развернуть и прочесть, – сказал ей импровизатор.

Красавица развернула бумажку и прочитала вслух:

– Cleopatra e i suoi amanti.

Эти слова произнесены были тихим голосом, но в зале царствовала такая тишина, что все их услышали. Импровизатор низко поклонился прекрасной даме с видом глубокой благодарности и возвратился на свои подмостки.

– Господа, – сказал он, обратясь к публике, – жребий назначил мне предметом импровизации Клеопатру и ее любовников. Покорно прошу особу, избравшую эту тему, пояснить мне свою мысль: о каких любовниках здесь идет речь, perché la grande regina aveva molto... [потому что у великой царицы их было множество...]

При сих словах многие мужчины громко засмеялись. Импровизатор немного смутился.

– Я желал бы знать, – продолжал он, – на какую историческую черту намекала особа, избравшая эту тему... Я буду весьма благодарен, если угодно ей будет изъясниться.

Никто не торопился отвечать. Несколько дам оборотили взоры на некрасивую девушку, написавшую тему по приказанию своей матери. Бедная девушка заметила это неблагосклонное внимание и так смутилась, что слезы повисли на ее ресницах... Чарский не мог этого вынести и, обратясь к импровизатору, сказал ему на итальянском языке:

– Тема предложена мною. Я имел в виду показание Аврелия Виктора, который пишет, будто бы Клеопатра назначила смерть ценою своей любви и что нашли обожатели, которых таковое условие не испугало и не отвратило... Мне кажется, однако, что предмет немного затруднителен... не выберете ли вы другого?

Но уже импровизатор чувствовал приближение Бога... Он дал знак музыкантам играть... Лицо его страшно побледнело, он затрепетал как в лихорадке; глаза его засверкали чудным огнем; он приподнял рукою черные свои волосы, отер платком высокое чело, покрытое каплями пота... и вдруг шагнул вперед, сложил крестом руки на грудь... музыка умолкла... Импровизация началась.

Чертог сиял. Гремели хором  
Певцы при звуке флейт и лир.  
Царица голосом и взором  
Свой пышный оживляла пир;  
Сердца неслись к ее престолу,  
Но вдруг над чашей золотой  
Она задумалась и долу  
Поникла дивною главой...

И пышный пир как будто дремлет,  
 Безмолвны гости. Хор молчит.  
 Но вновь она чело подымлет  
 И с видом ясным говорит:  
 В моей любви для вас блаженство?  
 Блаженство можно вам купить...  
 Внемлите ж мне: могу равенство  
 Меж нами я восстановить.  
 Кто к торгу страстному приступит?  
 Свою любовь я продаю;  
 Скажите: кто меж вами купит  
 Ценою жизни ночь мою? –

– Клянусь... – о мать наслаждений,  
 Тебе неслышанно служу,  
 На ложе страстных искушений  
 Простой наемницей всхожу.  
 Внемли же, мощная Киприда,  
 И вы, подземные цари,  
 О боги грозного Аида,  
 Клянусь – до утренней зари  
 Моих властителей желанья  
 Я сладострастно утомлю  
 И всеми тайнами лобзанья  
 И дивной негой утолю.  
 Но только утренней порфирой  
 Аврора вечная блеснет,  
 Клянусь – под смертную секирой  
 Глава счастливых упадет.

Рекла – и ужас всех объемлет,  
 И страстью дрогнули сердца...  
 Она смущенный ропот внемлет  
 С холодной дерзостью лица,  
 И взор презрительный обводит  
 Кругом поклонников своих...  
 Вдруг из толпы один выходит,  
 Вослед за ним и два других.  
 Смела их поступь; ясны очи;  
 Навстречу им она встает;  
 Свершилось: куплены три ночи,  
 И ложе смерти их зовет.

Благословенные жрецами,  
 Теперь из урны роковой  
 Пред неподвижными гостями  
 Выходят жребии чредой.  
 И первый – Флавий, воин смелый,  
 В дружинах римских поседель;  
 Снести не мог он от жены  
 Высокомерного презренья;

Он принял вызов наслажденья,  
 Как принимал во дни войны  
 Он вызов ярого сраженья.  
 За ним Критон, молодой мудрец,  
 Рожденный в рощах Эпикура,  
 Критон, поклонник и певец  
 Харит, Киприды и Амура...  
 Любезный сердцу и очам,  
 Как вешний цвет едва развитый,  
 Последний имени векам  
 Не передал. Его ланиты  
 Пух первый нежно оттенял;  
 Восторг в очах его сиял;  
 Страстей неопытная сила  
 Кипела в сердце молодом...  
 И с умилением на нем  
 Царица взор остановила.

И вот уже сокрылся день,  
 Восходит месяц златорогий.  
 Александрийские чертоги  
 Покрыла сладостная тень.  
 Фонтаны бьют, горят лампы,  
 Курится легкий фимиам.  
 И сладострастные прохлады  
 Земным готовятся богам.  
 В роскошном сумрачном покое  
 Средь обольстительных чудес  
 Под сенью пурпурных завес  
 Блестит ложе золотое.<sup>94</sup>  
 1835

### [Байрон]

Род Байронов, один из самых старинных в английской аристократии, младшей между европейскими, произошел от норманца Ральфа де Бюрон (или Бирона), одного из сподвижников Вильгельма Завоевателя. Имя Байрона с честью упоминается в английских летописях. Лордство дано их фамилии в 1643 году. Говорят, что Байрон свою родословную дорожил более, чем своими творениями. Чувство весьма понятное! Блеск его предков и почести, которые наследовал он от них, возвышали поэта: напротив того, слава, им самим приобретенная, нанесла ему и мелочные оскорбления, часто унижавшие благородного барона, предавая имя его на произвол молве.

Капитан Байрон, сын знаменитого адмирала и отец великого поэта, навлек на себя соблазнительную славу. Он увез супругу лорда Carmarthen и женился на ней тотчас после ее развода. Вскоре потом она умерла в 1784 году, оставя ему одну дочь. На другой год расчетливый вдовец для поправления своего расстроенного

состояния женился на мисс Gordon, единственной дочери и наследнице Георгия Гордона, владельца гайфского. Брак сей был несчастлив; 23.500 f.st. (587 500 руб.) были расточены в два года; и mistriss Байрон осталась при 150 f. st. годового дохода. В 1786 году муж и жена отправились во Францию и возвратились в Лондон в конце 1787.

В следующем году 22 января леди Байрон родила единственного своего сына Георгия Гордона Байрона. (Вследствие распоряжений фамильных, наследница гайфская должна была сыну своему передать имя Гордона). При его рождении повредили ему ногу, и лорд Байрон полагал тому причиною стыдливость или упрямство своей матери. Новорожденного крестили герцог Гордон и полковник Доф.

В 1790 леди Байрон удалилась в Абердин, и муж ее за нею последовал. Несколькое времени жили они вместе. Но характеры были слишком несовместны – вскоре потом они разошлись. Муж уехал во Францию, выманив прежде у бедной жены своей деньги, нужные ему на дорогу. Он умер в Валенсьене в следующем 1791 году.

Во время краткого пребывания своего в Абердине он однажды взял к себе маленького сына, который у него и ночевал; но на другой же день он отослал неугомонного ребенка к его матери и с тех пор уже его не приглашал.

Мистрисс Байрон была проста, вспыльчива и во многих отношениях безрассудна. Но твердость, с которой умела она перенести бедность, делает честь ее правилам. Она держала одну только служанку, и когда 1798 году повезла она молодого Байрона вступить во владение Ньюстида, долги ее не превышали 60 f.st.

Достоин замечания и то, что Байрон никогда не упоминал о домашних обстоятельствах своего детства, находя их унижительными. Маленький Байрон выучился читать и писать в Абердинской школе. В классах он был из последних учеников – и более отличался в играх. По свидетельству его товарищей, он был резвый, вспыльчивый и злопамятный мальчик, всегда готовый подраться и отплатить старую обиду.

Некто Патерсон, строгий пресвитерианец, но тихий и ученый мыслитель, был потом его наставником, и Байрон сохранил о нем благодарное воспоминание.

В 1796 году леди Байрон повезла его в горы для поправления его здоровья после скарлатины. Они поселились близ Баллатера.

Суровые красоты шотландской природы глубоко впечатлелись в воображение отрока.

Около того же времени осемилетний Байрон влюбился в Марию Доф. 17 лет после того, в одном из своих журналов, он описал свою раннюю любовь:

«J'ai beaucoup pensé dernièrement à Marie Duff. Comme il est étrange que j'aie été si complètement dévoué, et si profondément attaché à cette jeune fille, à un âge où je ne pouvais ni sentir la passion, ni même comprendre la signification de ce mot. Et pourtant c'était bien la chose! Ma mère avait coutume de me railler sur cet amour enfantin; et plusieurs années après, je pouvais avoir seize ans, elle me dit un jour: «Oh! Byron, j'ai reçu une lettre d'Edimbourg, de miss Abercromby; votre ancienne passion, Marie Duff, a épousé un M.C.» Et quelle fut ma réponse? Je ne puis réellement expliquer ni concevoir mes sensations à ce moment. Mais je tombai presque en convulsions; ma mère fut si fort alarmée qu'après que je fus remis, elle évitait toujours ce sujet avec moi, et se contentait d'en parler à toutes ses connaissances. A présent je me demande ce que pouvait-ce être? je ne l'avais pas revue depuis que, par suite d'un faux pas de sa mère à Aberdeen, elle était allée demeurer chez sa grand-mère à Banff; nous étions tous deux des enfants. J'avais et j'ai aimé cinquante fois depuis cette époque; et cependant je me rappelle tout ce que nous nous disions, nos caresses, ses traits, mon agitation,

l'absence de sommeil et la façon dont je tourmentai la femme de chambre de ma mère pour obtenir qu'elle écrivit à Marie en mon nom; ce qu'elle fit à la fin pour me tranquilliser. La pauvre fille me croyait fou, et comme je ne savais pas encore bien écrire, elle devint mon secrétaire. Je me rappelle aussi nos promenades, et le bonheur d'être assis près de Marie, dans la chambre des enfants, dans la maison où elle logeait près de Plainstones à Aberdeen, tandis que sa plus petite soeur jouait à la poupée et que nous nous faisions gravement la cour, à notre manière.

Comment diable tout cela a-t-il pu arriver si tôt? quelle en était l'origine et la cause? Je n'avais certainement aucune idée des sexes, même plusieurs années après; et cependant mes chagrins, mon amour pour cette petite fille étaient si violents que je doute quelquefois que j'aie jamais véritablement aimé depuis. Quoi qu'il en soit, la nouvelle de son mariage me frappa comme un coup de foudre; je fus près d'en étouffer, à la grande terreur de ma mère et à l'incrédulité de presque tout le monde. Et c'est un phénomène dans mon existence (car je n'avais pas huit ans) qui m'a donné à penser, et dont la solution me tourmentera jusqu'à ma dernière heure. Depuis peu, je ne sais pourquoi le *souvenir* (non l'attachement) m'est revenu avec autant de force que jamais. Je m'étonne si elle en a gardé mémoire, ainsi que de moi? et si elle se souvient d'avoir plaint sa petite soeur Hélène de ce qu'elle n'avait pas aussi un adorateur? Que son image m'est restée charmante dans la tête! ses cheveux châtains, ses yeux d'un brun clair et doux; jusqu'à son costume! Je serais tout-à-fait malheureux de *la voir à présent*. La réalité, quelque belle qu'elle fût, détruirait ou du moins troublerait ses traits de la ravissante Péri qui existait alors en elle, et qui survit encore en moi, après plus de seize ans; j'en ai maintenant vingt-cinq et quelques mois...»

[В последнее время я много думал о Мэри Дёфф. Как это странно, что я был так безгранично предан и так глубоко привязан к этой девушке, в возрасте, когда я не мог не только испытывать страсть, но даже понять значение этого слова. И однако же это была страсть! Моя мать имела обыкновение смеяться над этой детской любовью; и много лет спустя, — когда мне было примерно лет шестнадцать, — она мне сказала однажды: «Ах, Байрон, я получила письмо из Эдинбурга от мисс Аберкромби; ваша бывшая любовь, Мэри Дёфф, вышла замуж за господина С.» И что же я ей ответил? Я не могу постичь и объяснить то чувство, которое мною овладело в это мгновение. Со мною почти сделались судороги; моя мать была так этим встревожена, что потом, когда я оправился, она упорно избегала заговаривать со мной на эту тему, довольствуясь беседой об этом со своими приятельницами. И сейчас я спрашиваю себя, что бы это значило? Я не виделся с нею больше с тех пор, когда, вследствие проступка ее матери в Абердине, она поселилась у своей бабушки в Банфе; мы оба были тогда детьми. Я пятьдесят раз с тех пор влюблялся; и тем не менее я помню всё то, о чем мы говорили, помню наши ласки, ее черты, мое волнение, бессонницы и то, как я мучил горничную моей матери, заставляя ее писать Мэри письма от моего имени; и она в конце концов уступала, чтобы меня успокоить. Бедняжка считала меня сумасшедшим, и так как я в ту пору еще не умел как следует писать, она была моим секретарем. Я припоминаю также наши прогулки и то блаженство, которое я испытывал сидя около Мэри в ее детской, в доме, где она жила, около Пленстоуна, в Абердине, в то время как ее маленькая сестра играла в куклы, а мы с серьезностью, на свой лад, ухаживали друг за другом.

Но как же это чувство могло пробудиться во мне так рано? Какова была причина и источник этого? И в ту пору, и несколько лет спустя я не имел никакого понятия о различии полов. И тем не менее, мои страдания, моя любовь к этой маленькой девочке так сильны, что на меня находит иногда сомнение: любил ли я

по-настоящему когда-либо с тех пор? Как бы то ни было, известие о ее замужестве как громом меня поразило. Я чуть не задохнулся, к великому ужасу моей матери и к неверию по гти всех остальных. Это необычайное явление в моей жизни (ведь мне еще не было тогда полных восьми лет) заставило меня задуматься, и разрешение его *будет* меня мучить до конца моих дней. С некоторого времени, — сам не знаю почему, — *воспоминание* о Мэри (не чувство к ней) вновь пробудилось во мне с большей силой, чем когда-либо. Я хотел бы знать, помнит ли она обо всем этом, как и вообще обо мне? И вспоминает ли, как жалела когда-то свою сестренку Эллиен за то, что у той не было тоже своего поклонника? Какой очаровательный образ ее сохранился в моей душе! Ее каштановые волосы, ласковые светло-карие глаза — всё, вплоть до ее костюма! Я был бы поистине несчастен, если бы увидел ее теперь. Действительность, как бы ни была она прекрасна, разрушила бы или, по меньшей мере, замутила бы черты восхитительной Пери, которую она тогда являлась и которая продолжает еще жить во мне, хотя с тех пор прошло более шестнадцати лет: ибо мне сейчас двадцать пять и несколько месяцев.]

В 1798 году умер в Ньюстиде старый лорд Вильгельм Байрон. Четыре года пред сим родной внук его скончался в Корсике, и маленький Георгий Байрон остался единственным наследником имений и титула своего рода. Как несовершеннолетний, он отдан был в опеку лорду Карлилю — дальнему его родственнику, — и восхищенная *mgrs.* Байрон осенью того же года оставила Абердин и отправилась в древний Ньюстид с одиннадцатилетним сыном и верной служанкой Мери Грe.

Лорд Вильгельм, брат адмирала Байрона, родного деда его, был человек странный и несчастный. Некогда на поединке заколол он своего родственника и соседа г. Чаворта. Они дрались без свидетелей, в трактире при свечке. Дело это произвело много шума, и Палата пэров признала убийцу виновным. Он был однако ж освобожден от наказания и с тех пор жил в Ньюстиде, где его причуды, скупость и мрачный характер делали его предметом сплетен и клеветы. Носились самые нелепые слухи о причине развода его с женою. Уверяли, что он однажды покусился ее утопить в ньюстидском пруду.

Он старался разорить свои владения из ненависти к своим наследникам. Единственные собеседники его были старый слуга и ключница, занимавшая при нем и другое место. Сверх того дом был полон сверчками, которых лорд Вильгельм кормил и воспитывал. Несмотря на свою скупость, старый лорд имел часто нужду в деньгах и доставал их способами, иногда весьма предосудительными для его наследников. Но такой человек не мог об них и заботиться. Таким образом продал он Рочдаль, родовое владение, безо всякого на то права (что знали и покупщики; но они надеялись выручить себе выгоды, прежде нежели наследники успеют уничтожить незаконную куплю).

Лорд Вильгельм никогда не входил в сношение с молодым своим наследником, которого звал не иначе, как *мальчик, что живет в Абердине.*

Первые годы, проведенные лордом Байроном в состоянии бедном, не соответствовавшем его рождению, под надзором пылкой матери, столь же безрассудной в своих ласках, как и в порывах гнева, имели сильное продолжительное влияние на всю его жизнь. Уязвленное самолюбие, поминутно потрясенная чувствительность оставили в сердце его эту горечь, эту раздражительность, которые потом сделались главными признаками его характера.

Странности лорда Байрона были частью врожденные, частью им заимствованные (*adoptés*). Мур справедливо замечает, что в характере Байрона ярко отрази-

лись и достоинства и пороки многих из его предков: с одной стороны смелая предприимчивость, великодушие, благородство чувств, с другой – необузданные страсти, причуды и дерзкое презрение к общему мнению. Сомнения нет, что память, оставленная за собою лордом Вильгельмом, сильно повлияла на воображение его наследника – многое перенял он у своего странного деда в его обычаях, и нельзя не согласиться в том, что Манфред и Лара напоминают уединенного ньюстидского барона.

Обстоятельство, повидимому, маловажное имело столь же сильное влияние на его душу. В самую минуту его рождения нога его была повреждена – и Байрон остался хром на всю свою жизнь. Физический сей недостаток оскорблял его самолюбие. Ничто не могло сравниться с его бешенством, когда однажды мистрис Байрон выбрала его *хромым мальчишкой*. Он, будучи собою красавец, воображал себя уродом и дичился общества людей, мало ему знакомых, – опасаясь их насмешливого взгляда. Самый сей недостаток усиливал в нем желание отличиться во всех упражнениях, требующих силы физической и проворства.<sup>95</sup>  
1835

## TABLE-TALK<sup>96</sup>

<...> Человек по природе своей склонен более к осуждению, нежели к похвале (говорит Макиавель, сей великий знаток природы человеческой).

Глупость осуждения не столь заметна, как глупая похвала; глупец не видит никакого достоинства в Шекспире, и это приписано разборчивости его вкуса, странности и т.п. Тот же глупец восхищается романом Дюкре-Дюминилиа или «Историей» г. Полевого, и на него смотрят с презрением. Хотя в первом случае глупость его выразилась яснее для человека мыслящего. <...>

Отелло от природы не ревнив – напротив: он доверчив. Вольтер это понял и, развивая в своем подражании создание Шекспира, вложил в уста своего Орозмана следующий стих:

Je ne suis point jaloux ... Si je l'étais jamais!..  
[Я совсем не ревнив... Если б я был ревнивым!]

Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры. У Мольера скупой скуп – и только; у Шекспира Шайлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера лицемер волочится за женою своего благодетеля, лицемеря; принимает имение под сохранение, лицемеря; спрашивает стакан воды, лицемеря. У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с тщеславною строгостию, но справедливо: он оправдывает свою жестокость глубокомысленным суждением государственного человека; он оболыщает невинность сильными, увлекательными софизмами, не смешною смесью набожности и волокитства. Анжело лицемер – потому что его гласные действия противуречат тайным страстям! А какая глубина в этом характере!



Но нигде, может быть, многосторонний гений Шекспира не отразился с таким многообразием, как в Фальстафе, коего пороки, один с другим связанные, составляют забавную, уродливую цель, подобную древней вакханалии. Разбирая характер Фальстафа, мы видим, что главная черта его есть сластолюбие; смолоду, вероятно, грубое, дешевое волокитство было первою для него заботою, но ему уже за пятьдесят, он растолстел, одрях; обжорство и вино приметно взяли верх над Венерою. Во-вторых, он трус, но, проведя свою жизнь с молодыми повесами, поминутно подверженный их насмешкам и проказам, он прикрывает свою трусость дерзостью уклончивой и насмешливой. Он хвастлив по привычке и по расчету. Фальстаф совсем не глуп, напротив. Он имеет и некоторые привычки человека, нередко видавшего хорошее общество. Правил нет у него никаких. Он слаб, как баба. Ему нужно крепкое испанское вино (the sack), жирный обед и деньги для своих любовниц; чтоб достать их, он готов на всё, только б не на явную опасность.

В молодости моей случай сблизил меня с человеком, в коем природа, казалось, желая подражать Шекспиру, повторила его гениальное создание. \*\*\* был второй Фальстаф:<sup>97</sup> сластолюбив, трус, хвастлив, не глуп, забавен, без всяких правил, слезлив и толст. Одно обстоятельство придавало ему прелесть оригинальную. Он был женат. Шекспир не успел женить своего холостяка. Фальстаф умер у своих приятельниц, не успев быть ни рогатым супругом, ни отцом семейства; сколько сцен, потерянных для кисти Шекспира!

Вот черта из домашней жизни моего почтенного друга. Четырехлетний сынок его, вылитый отец, маленький Фальстаф III, однажды в его отсутствие повторял про себя: «Какой папенька хлабий! как папеньку госудаль любит!» Мальчика подслушали и кликнули: «Кто тебе это сказывал, Володя?» – Папенька, – отвечал Володя. <...>

Гёте имел большое влияние на Байрона. Фауст тревожил воображение Чильд-Гарольда. Два раза Байрон пытался бороться с великаном романтической поэзии – и остался хром, как Иаков.<sup>98</sup> <...>

### О Дурове.

Дуров<sup>99</sup> – брат той Дуровой, которая в 1807 году вошла в военную службу, заслужила георгиевский крест и теперь издает свои записки. Брат в своем роде не уступает в странности сестре. Я познакомился с ним на Кавказе, в 1829 г., возвращаясь из Арзума. Он лечился от какой-то удивительной болезни, вроде каталепсии, и играл с утра до ночи в карты. Наконец он проигрался, и я довез его до Москвы в моей коляске. Дуров помешан был на одном пункте: ему непременно хотелось иметь сто тысяч рублей. Всевозможные способы достать их были им придуманы и передуманы. Иногда ночью, в дороге, он будил меня вопросом: «Александр Сергеевич! Александр Сергеевич! как бы, думаете вы, достать мне сто тысяч?» Однажды сказал я ему, что на его месте, если уж сто тысяч были необходимы для моего спокойствия и благополучия, то я бы их украл. «Я об этом думал», отвечал мне Дуров. – Ну что же? – «Мудрено; не у всякого в кармане можно найти сто тысяч, а зарезать или обокрасть человека за безделицу не хочу: у меня есть совесть». – Ну, так украдьте полковую казну. – «Я об этом думал». – Что же? – «Это можно бы сделать летом, когда полк в лагере, а фура с казною стоит у палатки полкового командира. Можно накинуть на дышло длинную веревку и припречь издали лошадь, а там на ней и ускакать; часовой, увидя, что фура скачет без лошадей, вероятно испугается и не будет знать, что делать; в двух или трех верстах можно будет разбить фуру, а с казною бежать. Но тут много также неудобств. Не

«знаете ли вы иного способа?» – Просите денег у государя. – «Я об этом думал». – Что же? – «Я даже и просил». – Как! безо всякого права? – «Я с того и начал: ваше величество! я никакого права не имею просить у вас то, что составило бы счастье моей жизни; но, ваше величество, на милость образца нет, и так далее». – Что же вам отвечали? – «Ничего». – Это удивительно. Вы бы обратились к Ротшильду. – «Я об этом думал». – Что ж, за чем дело стало? – «Да видите ли: один способ выманить у Ротшильда сто тысяч было бы так странно и так забавно написать ему просьбу, чтоб ему было весело, потом рассказать анекдот, который стоил бы ста тысяч. Но сколько трудностей...» Словом: нельзя было придумать несообразности и нелепости, о которой бы Дуров уже не подумал. Последний прожект его был выманить эти деньги у англичан, подстрекнув их народное честолюбие и в надежде на их любовь к странностям. Он хотел обратиться к ним с следующим sreesch: «Гг. англичане! я бился об заклад об 10 000 рублей, что вы не откажетесь мне дать взаймы 100 000. Гг. англичане! избавьте меня от проигрыша, на который навязался я, в надежде на ваше всему свету известное великодушие». Дуров просил меня похлопотать об этом в Петербурге через английского посланника, а свой прожект высказал мне не иначе, как взяв с меня честное слово не воспользоваться им. Он готов был всегда биться об заклад, и о чем бы то ни было. Говорили ли о женщине, – «хотите со мной биться об заклад, прерывал Дуров, что через 3 дня я буду ее иметь!» Стреляли ли в цель из пистолета, – Дуров предлагал стать в 25 шагах и бился о 1000 р., что вы в него не попадете. Страсть его к женщинам была также очень замечательна. Бывши городничим в Елабуге, влюбился он в одну рыжую бабу, осужденную к кнуту, в ту самую минуту, как она была уже привязана к столбу, а он по должности своей, присутствовал при ее казни. Он шепнул палачу, чтоб он ее поберег и не трогал ее прелестей, белых и жирных, что и было исполнено: после чего Дуров жил несколько дней с прекрасной каторжницей. Недавно получил я от него письмо: он пишет мне: «История моя коротка : я женился, а денег всё нет». Я отвечал ему: «Жалею, что изю 100 000 способов достать 100 000 рублей ни один еще, видно, вам не удался».

8 октября 1835.

## Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года

### Глава первая

... Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал таким образом 200 верст лишних; зато увидел Ермолова. Он живет в Орле, близ коего находится его деревня. Я приехал к нему в восемь часов утра и не застал его дома. Извозчик мой сказал мне, что Ермолов ни у кого не бывает кроме как у отца своего, простого, набожного старика, что он не принимает одних только городских чиновников, а что всякому другому доступ свободен. Через час я снова к нему приехал. Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностию. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом.<sup>100</sup> Он был в зеленом черкесском чекмене.

На стенах его кабинета висели пашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. <...>

Мы достигли Владикавказа, прежнего Капкая, преддверия гор. Он окружен осетинскими аулами. Я посетил один из них и попал на похороны. Около сакли толпился народ. На дворе стояла арба, запряженная двумя волами. Родственники и друзья умершего съезжались со всех сторон и с громким плачем шли в саклю, удаляя себя кулаками в лоб. Женщины стояли смиренно. Мертвеца вынесли на бурке,

... like a warrior taking his rest  
With his martial cloak around him;<sup>101</sup>

[...подобно отдыхающему воину, в его боевом плаще]

положили его на арбу. Один из гостей взял ружье покойника, сдул с полки порох и положил его подле тела. Волы тронулись. Гости поехали следом. Тело должно было быть похоронено в горах, верстах в тридцати от аула. К сожалению, никто не мог объяснить мне сих обрядов.

## Глава вторая

Я остановился в трактире, на другой день отправился в славные Тифлиские бани. Город показался мне многолюден. Азиатские строения и базар напомнили мне Кишинев. По узким и кривым улицам бежали ослы с перекидными корзинами; арбы, запряженные волами, перегорожали дорогу. Армяне, грузинцы, черкесы, персияне теснились на неправильной площади; между ими молодые русские чиновники разезжали верхами на карабахских жеребцах. При входе в бани сидел содержатель, старый персиянин. Он отворил мне дверь, я вошел в обширную комнату, и что же увидел? Более пятидесяти женщин молодых и старых, полуодетых и вовсе не одетых, сидя и стоя раздевались, одевались на лавках, расставленных около стен. Я остановился. «Пойдем, пойдем», сказал мне хозяин, «сегодня вторник: женский день. Ничего, не беда». — «Конечно не беда», — отвечал я ему, — «напротив». Появление мужчин не произвело никакого впечатления. Они продолжали смеяться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась прикрыться своею чадрую; ни одна не перестала раздеваться. Казалось, я вошел невидимкой. Многие из них были в самом деле прекрасны, и оправдывали воображение Т. Мура:

a lovely Georgian maid,  
With all the bloom, the freshen'd glow  
Of her own country maiden's looks,  
When warm they rise from Teflis' brooks  
Lalla Rookh<sup>102</sup>

[прелесная грузинская дева с ярким румянцем и свежим пыланьем, какое бывает на лицах дев ее страны, когда они выходят разгоряченные из Тифлиских ручьев. *Лалла Рук*].

Зато не знаю ничего отвратительнее грузинских старух: это ведьмы. <...>  
1835

## (Из Пиндемонти)

Не дорого ценю я громкие права,  
 От коих не одна кружится голова.  
 Я не рошшу о том, что отказали боги  
 Мне в сладкой участи оспоривать налоги,  
 Или мешать царям друг с другом восвать;  
 И мало горя мне, свободно ли печать  
 Морочит олухов, иль чуткая цензура  
 В журнальных замыслах стесняет балагура.  
 Все это, видите ль, *слова, слова, слова*\*  
 Иные, лучшие мне дороги права;  
 Иная, лучшая потребна мне свобода:  
 Зависеть от царя, зависеть от народа –  
 Не все ли нам равно? Бог с ними.

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому  
 Служить и угождать: для власти, для ливреи  
 Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;  
 По прихоти своей скитаться здесь и там,  
 Дивясь божественным природы красотам,  
 И пред созданьями искусств и вдохновенья  
 Трепеща радостно в восторгах умиленья.  
 – Вот счастье! вот права...  
 1836

## Кн. Козловскому

Ценитель умственных творений исполинских,  
 Друг бардов английских, любовник муз латинских,  
 Ты к мощной древности опять меня манишь,  
 Ты снова мне . . . Велишь.  
 Простясь с . . . мечтой и бледным идеалом,  
 Я приготовился бороться с Ювенолом,  
 Чьи строгие стихи, неопытный поэт,  
 Стихами перевести я было дал обет.  
 Но, развернув его суровые творенья,  
 Не мог я одолеть пугливого смущенья...  
 Стихи бесстыдные приапами торчат,  
 В них звуки странною гармонией трещат \_103  
 1836

\* Hamlet.

## Родрик

Чудный сон мне Бог послал –  
 С длинной белой бородою  
 В белой ризе предо мною  
 Старец некой предстоял  
 И меня благословлял.  
 Он сказал мне: «Будь покоен,  
 Скоро, скоро удостоен  
 Будешь Царствия Небес.  
 Скоро странствию земному  
 Твоему придет конец.  
 Уж готовит ангел смерти  
 Для тебя святой венец...  
 Путник – ляжешь на ночлеге,  
 В гавань, плаватель, войдешь,  
 Бедный пахарь утомленный,  
 Отрешишь волов от плуга  
 На последней борозде.

Ныне грешник тот великий,  
 О котором предвещанье  
 Слышал ты давно  
 . . . Грешник долгожданный  
 Наконец к тебе придет  
 Исповедовать себя,  
 И получит разрешенье,  
 И заснешь ты вечным сном»  
 Сон отрадный, благовещный –  
 Сердце жадное не смеет  
 И поверить и не верить.  
 Ах, ужели в самом деле  
 Близок я к моей кончине?  
 И страшуся и надеюсь,  
 Казни вечныя страшуся,  
 Милосердия надеюсь:  
 Успокой меня, Творец.  
 Но твоя да будет воля,  
 Не моя. – Кто там идет?..<sup>104</sup>  
 [1830–1836]

## Фракийские элегии

*Стихотворения Виктора Теплякова, 1836.*<sup>105</sup>

В наше время молодому человеку, который готовится посетить великолепный Восток, мудро, сядя на корабль, не вспомнить лорда Байрона и невольным соучастием не сблизить судьбы своей с судьбою Чильд-Гарольда. Ежели, паче чаяния, молодой человек еще и поэт и захочет выразить свои чувствования, то как избежать ему подражания? Можно ли за то его укорять? Талант неволен, и его подражание не есть постыдное похищение – признак умственной скудости, но благородная надежда на свои собственные силы, надежда открыть новые миры, стремясь по следам гения, – или чувство, в смирении своем еще более возвышенное: желание изучить свой образец и дать ему вторичную жизнь.

Нет сомнения, что фантастическая тень Чильд-Гарольда сопровождала г. Теплякова на корабле, принесшем его к Фракийским берегам. Звуки прощальных строф

Adieu, adieu, my native land!<sup>106</sup>

отзываются в самом начале его песен:

Пльвем!... бледнеет день; бегут берега родные,  
Златой струится блеск по синему пути;  
Прости, земля! прости, Россия;  
Прости, о родина, прости!

Но уже с первых стихов поэт обнаруживает самообытный талант:

Безумец! что за грусть? в минуту разлученья  
Чьи слезы ты лобзал на берегу родном?  
Чьи слышал ты благословенья?  
Одно минувшее мудренным, тяжким сном  
В тот миг душе твоей мелькало,  
И юности твоей избитый бурей чёлн,  
И бездны, перед ней отверсты, казало! –  
Пусть так! но грустно мне! Как плеск угрюмых волн  
Печально в сердце раздается!  
Как быстро мой корабль в чужую даль несется!  
О, лютная странника, святой от грусти щит,  
Приди, подруга дум заветных!  
Пусть в каждом звуке струн приветных  
К тебе душа моя, о родина, летит!

<...> размышления при виде развалин Венецианского замка имеют ту невыгоду, что напоминают некоторые строфы из четвертой песни «Чильд-Гарольда», строфы, слишком сильно врезанные в наше воображение. Но вскоре поэт снова одушевляется.

Улегся ветер: вод стекло  
Ясней небес лазурных блещет;  
Повисший парус наш, как лебедя крыло,  
Свинцом охотника пронзенное, трепещет.  
Но что за гул?.. как гром глухой,  
Над тихим морем он раздался: –  
То грохот пушки заревой,  
Из русской Варны он примчался!

О радость! завтра мы узрим  
 Страну поклонников пророка:  
 Под небом вечно-голубым  
 Упьемся воздухом твоим,  
 Земля роскошного Востока!  
 И в темных миртовых садах,  
 Фонтанов мраморных при медленном журчании,  
 При соблазнительных луны твоей лучах,  
 В твоём, о юная невольница, лобзании  
 Цветов родной твоей страны,  
 Живых восточных роз отведаем дыханье  
 И жар, и свежесть их весны!.. <...>

1836

### Путешествие В.Л.П.

*Путешествие N.N. в Париж и Лондон, писанное за три дни до путешествия. В трех частях. Москва, тип. Платона Бекетова, 1808, in 16°. Картинка представляет В.Л. Пушкина и Тальма.*

Эта книжка никогда не была в продаже. Несколько экземпляров розданы были приятелям автора, от которого имел я счастье получить и свой (чуть ли не последний). Я храню его как памятник благосклонности, для меня драгоценной...

*Путешествие* есть веселая, незлобная шутка над одним из приятелей автора; покойный В.Л. Пушкин отправлялся в Париж и его младенческий восторг подал повод к сочинению маленькой поэмы, в которой с удивительной точностью изображен весь Василий Львович. Это образец игривой легкости и шутки живой и незлобной.

Для тех, которые любят Катулла, Грессета и Вольтера, для тех, которые любят поэзию не только в ее лирических порывах или в унылом вдохновении элегии, не только в обширных созданиях драмы и эпопеи, но и в игривости шутки, и в забавах ума, вдохновенных ясной веселостию, искренность драгоценна в поэте. Нам приятно видеть поэта во всех состояниях, изменениях его живой и творческой души: и в печали, и в радости, и в парениях восторга, и в отдохновении чувств – и в Ювенальном негодовании, и в маленькой досаде на скучного соседа... Благовею пред созданием «Фауста», но люблю и эпиграммы.

Виноват: я бы отдал всё, что было писано у нас в подражание лорду Байрону, за следующие незадумчивые и невесторженные стихи, в которых поэт заставляет героя своего восклицать друзьям:

Друзья! сестрицы! я в Париже!  
 Я начал жить, а не дышать! etc.<sup>107</sup>

Есть люди, которые не признают иной поэзии, кроме страстной или выпрещенной; есть люди, которые находят и Горация прозаическим (спокойным, умным, рассудительным? так ли?). Пусть так. Но жаль было бы, если б не существовали прелестные оды, которым подражал и наш Державин.

[1836]

## [О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая»]

Долгое время французы пренебрегали словесностию своих соседей. Уверенные в своем превосходстве над всем человечеством, они ценили славных писателей иностранных относительно меры, как отделились они от французских привычек и правил, установленных французскими критиками.

В переводных книгах, изданных в прошлом столетии, нельзя прочесть ни одного предисловия, где бы не находилась неизбежная фраза: мы думали угодить публике, а с тем вместе оказать услугу и нашему автору, исключив из его книги места, которые могли бы оскорбить образованный вкус французского читателя. Странно, когда подумаешь, кто, кого и перед кем извинял таким образом! и вот к чему ведет невежественная страсть к народности!.. Наконец критика спохватилась. Стали подозревать, что г. Летуэрнер мог ошибочно судить о Шекспире и не совсем благоразумно поступил, переправляя на свой лад «Гамлета», «Ромео» и «Лира». От переводчиков стали требовать более верности и менее щекотливости и усердия к публике, пожелали видеть Данте, Шекспира и Сервантеса в их собственном виде, в их народной одежде. Даже мнение, утвержденное веками и принятое всеми, что переводчик должен стараться передавать дух, а не букву, нашло противников и искусные опровержения.

Ныне (пример неслыханный!) первый из французских писателей переводит Мильтона *слово в слово* и объявляет, что подстрочный перевод был бы верхом его искусства, если б только он был возможен! – Таковое смирение во французском писателе, первом мастере своего дела, должно было сильно изумить поборников *исправительных переводов* и, вероятно, будет иметь большое влияние на словесность.

Изю всех иноземных великих писателей Мильтон был всех несчастнее во Франции. Не говорим о жалких переводах в прозе, в которых он был безвинно оклеветан, не говорим о переводе в стихах аббата Делиля, который ужасно поправил его грубые недостатки и украсил его без милосердия; но как же выводили его собственное лицо в трагедиях и в романах писатели новейшей романтической школы? что сделал из него г. Альфред де Виньи, которого французские критики без церемонии поставили на одной доске с В. Скоттом? как выставил его Виктор Юго, другой любимец парижской публики? Может быть, читатели забыли и «Cinq-Mars», и «Кромвеля» и потому не могут судить о нелепости вымыслов Виктора Юго. Выведем того и другого на суд всякого знающего и благомыслящего человека.

Начнем с трагедии – одного из самых нелепых произведений человека, впрочем одаренного талантом.

Мы не станем следовать за спотыкливый ход этой драмы, скучной и чудовищной; мы хотим только показать нашим читателям, в каком виде в ней представлен Мильтон, еще неизвестный поэт, но политический писатель, уже славный в Европе своим горьким и заносчивым красноречием.

Кромвель во дворце своем беседует с лордом Рочестером, переодетым в методиста, и с четырьмя шутами. Тут же находится Мильтон со своим вожатым (лицом довольно ненужным, ибо Мильтон ослеп уже гораздо после). Протектор говорит Рочестеру:

– Так как мы теперь одни, то я хочу посмеяться: представляю вам моих шутов. Когда мы находимся в веселом духе, тогда они бывают очень забавны. Мы все пишем стихи, даже и мой старый Мильтон.



МИЛЬТОН (*с досадою*).

Старый Мильтон! Извините, милорд: я девятью годами моложе вас.

КРОМВЕЛЬ.

Как угодно.

МИЛЬТОН.

Вы родились в 99, а я в 608.

КРОМВЕЛЬ.

Какое свежее воспоминание!

МИЛЬТОН (*с живостию*).

Вы бы могли обходиться со мною учтивее: я сын нотариуса, городского альдермана.

КРОМВЕЛЬ.

Ну, не сердись – я знаю, что ты великий фелог и даже хороший стихотворец, хотя пониже Вайверса и Дона.

МИЛЬТОН (*говоря сам про себя*).

Пониже! как это слово жестоко! Но погодим. Увидят, отказало ли мне небо в своих дарах. Потомство мне судия. Оно поймет мою Еву, падающую в адскую ночь, как сладкое сновидение; Адама, преступного и доброго, и Неукротимого духа, царствующего также над оною вечностию, высокого в своем отчаянии, глубокого в безумии, исходящего из огненного озера, которое бьет он огромным своим крылом! Ибо пламенный гений во мне работает. Я обдумываю, *молча*, странное намерение. Я живу в мысли моей, и ею Мильтон утешен: так, я хочу в свою очередь создать свой мир между адом, землею и небом.

ЛОРД РОЧЕСТЕР (*про себя*).

Что он там городит?

ОДИН ИЗ ШУТОВ.

Смешной мечтатель!

КРОМВЕЛЬ (*пожимая плечами*).

Твой *Иконокласт* очень хорошая книга, но твой чорт, Левиафан... (*смеясь*) очень плох...

МИЛЬТОН (*сквозь зубы, с негодованием*).

И Кромвель смеется над моим Сатаню!

РОЧЕСТЕР (*подходит к нему*).

Г-н Мильтон!

МИЛЬТОН (*не слыша его и оборотясь к Кромвелю*).

Он это говорит из зависти.

РОЧЕСТЕР (*Мильтону, который слушает его с рассеянностью*).

По чести вы не понимаете поэзию. Вы умны, но у вас недостает вкуса. Послушайте: французы учителя наши во всем. Изучайте Ракана, читайте его пастушеские стихотворения.

Пусть Аминта и Тирсис гуляют у вас по лугам; пусть она ведет за собою барашка на голубой ленточке. Но Ева, Адам, ад, огненное озеро! Сатана голый, с опаленными крыльями! Другое дело: кабы вы его прикрыли щегольским платьем; кабы вы дали ему огромный парик и шлем с золотою шишкою, розовый камзол и мантию флорентинскую, как недавно видел я во французской опере Солнце в праздничном кафтане.

МИЛЬТОН (*удивленный*).

Это что за пустословие?

РОЧЕСТЕР (*кусая губы*).

Опять я забылся! – Я, сударь, шутил.

МИЛЬТОН.

Очень глупая шутка!

Далее Мильтон утверждает, что править государством безделица; то ли дело писать латинские стихи. Немного времени спустя Мильтон бросается в ноги Кромвелю, умоляя его не домогаться престола, на что протектор отвечает ему: г. Мильтон, государственный секретарь, ты пиит, ты в лирическом восторге забыл, кто я таков и проч.

В сцене, не имеющей ни исторической истины, ни драматического правдоподобия, в бессмысленной пародии церемониала, наблюдаемого при коронации английских королей, Мильтон и один из придворных шутов играют главную роль. Мильтон проповедует республику, шут подымает перчатку королевского рыцаря...

Вот каким жалким безумцем, каким ничтожным персонажем выведен Мильтон человеком, который вероятно сам не ведал, что творил, оскорбляя великую тень! В течение всей трагедии, кроме насмешек и ругательства ничего иного Мильтон не слышит; правда и то, что и сам он, во все время, ни разу не вымолвит дельного слова. Это старый шут, которого все презирают и на которого никто не обращает никакого внимания.

Нет, г. Юго! не таков был Джон Мильтон, друг и сподвижник Кромвеля, суровый фанатик, строгий творец «Иконокласта» и книги: *Defensio populi!* Не таким языком изъяснялся бы с Кромвелем тот, который написал ему свой славный пророческий сонет: *Cromwell, our chief of men!*<sup>108</sup>

Не мог быть посмешищем развратного Рочестера и придворных шутов тот, кто в злые дни, жертва злых языков, в бедности, в гонении и в слепоте сохранил непреклонность души и продиктовал «Потерянный рай».

Если г. Юго, будучи сам поэт (хотя и второстепенный), так худо понял Мильтона, то всяк легко себе вообразит, что под его пером стало из лица Кромвеля, с которым не имел он уж ровно никакого сочувствия! Но это не касается до нашего предмета. От неровного, грубого Виктора Юго и его уродливых драм перейдем к чопорному, манерному графу Виньи и к его облизанному роману.

Альфред де Виньи в своем «Сен-Марсе» также выводит перед нами Мильтона и вот в каких обстоятельствах:

У славной Марии Делорм, любовницы кардинала Ришелье, собирается общество придворных и ученых. Скюдери толкует им свою аллегорическую карту любви. Гости в восхищении от крепости *Красоты*, стоящей на реке *Гордости*, от деревни *Записочек*, от гавани *Равнодушия* и проч. и проч. Все осыпают г-на Скюдери напыщенными похвалами, кроме Мольера, Корнеля и Декарта, которые тут же

находятся. Вдруг хозяйка представляет обществу молодого, путешествующего англичанина, по имени Джона Мильтона, и заставляет его читать гостям отрывки из «Потерянного рая». Хорошо; да как же французы, не зная английского языка, поймут Мильтоновы стихи? Очень просто: места, которые он будет читать, переведены на французский язык, переписаны на особых листочках и списки розданы гостям. Милтон будет декламировать, а гости следовать за ним. Да зачем же ему беспокоиться, если уже стихи переведены? Стало быть Милтон великий декламатор, – или звуки английского языка чрезвычайно как любопытны? А какое дело графу де Виньи до всех этих нелепых несообразностей? Ему надобно, чтоб Милтон читал в парижском обществе свой «Потерянный рай» и чтоб французские умники над ним посмеялись и не поняли духа великого поэта (разумеется, кроме Мольера, Корнеля и Декарта), а из этого выдет следующая эффектная сцена.

Хозяйка взяла листы и раздала их гостям.

«Все уселись и замолчали. Не скоро уговорили молодого иностранца начать чтение и отойти от окна, где он, казалось, с большим удовольствием разговаривал с Корнелем. Наконец он подошел к креслам, стоявшим у стола: он, казалось, был слабого здоровья и, можно сказать, упал, а не сел в них. Он облокотился на стол и закрыл рукою глаза свои, большие и выразительные, но полузакрытые и покрасневшие от бдений или слез. Он читал стихи свои наизусть, недоверчивые его слушатели смотрели на него с видом высокомерным или, по крайней мере, покровительственным; другие с рассеянным видом просматривали перевод стихов его.

Голос его, сначала глухой, постепенно очищался; скоро поэтическое вдохновение исхитило его из него самого, и взгляд его, возведенный к небу, сделался высоким, как взгляд Рафаэлева евангелиста, ибо свет еще отражался в нем. Он повествовал в стихах своих о первом грехопадении человека и призывал святого духа, который предпочитает всем храмам сердце чистое и бесхитростное, который все ведает и присутствовал при рождении времени.

Это начало принято было с глубоким молчанием, а последняя мысль с легким ропотом. Он ничего не слышал, видел все сквозь какое-то облако, – он был в мире, им созданном, и продолжал.

Он повествовал о духе адском, прикованном в пламени мстительном цепями алмазовыми; о времени, девять раз наделившем смертных днями и ночами в продолжение его падения; о зримой тьме вечных темниц и пламенеющем океане, в котором плавали падшие ангелы; гремющий его голос начал речь князя демонов: Ты ли, говорил он, ты ли тот, сиявший в ослепительном блеске блаженных селений света! О! как ниспал ты! Теки со мною... Что нам до поля нашей небесной битвы? ужели все для нас погибло? Мы все сохранили, и волю непреклонную, и дух мести ненасытной, и ненависть бесконечную, и мужество непреодолимое, ужели это не победа?

Тут слуга громким голосом возвестил о прибытии гг. Монтрезора и д'Антрэг. Они раскланялись, поговорили, передвигали все кресла и наконец уселись. Слушатели воспользовались этим, чтобы начать множество частных разговоров; в них слышались только хулы и упреки в безвкусице; некоторые умные, но слишком привязанные к старине люди вскричали, что они этого не понимают, что это выше их разума (не думая, чтобы говорили правду), и этим ложным смирением привлекли себе похвалу, а поэту оуждение: выгода двойная. Иные говорили даже, что это поругание святыни.

Прерванный поэт закрыл лицо руками и облокотился на стол, чтобы не слышать всего этого шума похвал и критик. Только три человека подошли к нему: то

были какой-то офицер, Покелень и Корнель; сей последний сказал Мильтону на ухо:

– Советую вам переменить ваши картины; та, которую вы нам изобразили, слишком высока для ваших слушателей».

Мильтон, несмотря на то, что назначенные для чтения места переведены и что он должен читать их по порядку, ищет в памяти своей то, что, по его мнению, более произведет действия на слушателей, не заботясь о том, поймут ли его или нет. Но посредством какого-то чуда (не изъясненного г-м де Виньи) все его понимают. Дебарро находит его приторным; Скиодери – скучным и холодным. Мария Делорм очень тронута описанием Адама в первобытном его состоянии. Мольер, Корнель и Декарт осыпают его комплиментами etc., etc.

Или мы очень ошибаемся, или Мильтон, проезжая через Париж, не стал бы показывать себя как заезжий фигляр, и в доме непотребной женщины забавлять общество чтением стихов, писанных на языке, неизвестном никому из присутствующих, жеманясь и рисуясь, то *закрывая глаза*, то *возводя их в потолок*. Разговоры его с Дету, с Корнелем и Декартом не были бы пошлым и изысканным пустословием; а в обществе играл бы он роль, ему приличную, скромную роль благородного и хорошо воспитанного молодого человека.

После удивительных вымыслов В. Юго и графа де Виньи, хотите ли видеть картину, просто набросанную другим живописцем? прочтите в Вудстоке встречу одного из действующих лиц с Мильтоном в кабинете Кромвеля...<sup>109</sup>

Французский романист конечно не довольствовался бы таким незначительным и естественным изображением. У него Мильтон, занятый государственными делами, непременно терялся бы в пиитических мечтаниях и на полях какого-нибудь отчета намарал бы несколько стихов из «Потерянного рая»; Кромвель бы это подметил, разобрал бы своего секретаря, назвал бы его стихоплетом и вралем etc., а из того бы вышел эффект, о котором бедный В. Скотт и не подумал!

Перевод, изданный Шатобрианом, заглаживает до некоторой степени прегрешения молодых французских писателей, так невинно, но так жестоко оскорбивших великую тень. Мы сказали уже, что Шатобриан переводил Мильтона почти слово в слово, так близко, как только то мог позволить синтаксис французского языка: труд тяжелый и неблагодарный, незаметный для большинства читателей и который может быть оценен двумя, тремя знатоками! Но удачен ли новый перевод? Шатобриан нашел в Низаре критика неумолимого. Низар в статье, исполненной тонкой сметливости, сильно напал и на способ перевода, избранный Шатобрианом, и на самый перевод. Нет сомнения, что, стараясь передать Мильтона *слово в слово*, Шатобриан, однако, не мог соблюсти в своем предложении верности смысла и выражения. Подстрочный перевод никогда не может быть верен. Каждый язык имеет свои обороты, свои условленные риторические фигуры, свои усвоенные выражения, которые не могут быть переведены на другой язык соответствующими словами. Возьмем первые фразы: *Comment vous portez vous; How do you do*. Попробуйте перевести их слово в слово на русский язык\*

Если уже русский язык, столь гибкий и мощный в своих оборотах и средствах, столь переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам, не способен к переводу подстрочному, к предложению слово в слово, то каким обра-

\*Кстати: недавно (в «Телескопе», кажется) кто-то, критикуя перевод, хотел вероятно блеснуть знанием итальянского языка и пенял переводчику, зачем он пропустил в своем переводе выражение *battersi la guancia* – бить себя по щекам. *Battersi la guancia* значит *раскатыться*, перевести иначе не имело бы никакого смысла.

зом язык французский, столь осторожный в своих привычках, столь пристрастный к своим преданиям, столь неприязненный к языкам, даже ему единоплеменным, выдержит таковой опыт, особенно в борьбе с языком Мильтона, сего поэта, все вместе и изысканного и простодушного, темного, запутанного, выразительно-го, своенравного, и смелого даже до бессмыслия?

Перевод «Потерянного рая» есть торговая спекуляция. Первый из современных французских писателей, учитель всего пишущего поколения, бывший некогда первым министром, несколько раз посланником, Шатобриан на старости лет перевел Мильтона для куска хлеба. Каково бы ни было исполнение труда, им предпринятого, но самый сей труд и цель оного делают честь оному старцу. Тот, кто, поторговавшись немного с самим собою, мог спокойно воспользоваться щедротами нового правительства, властью, почестями и богатством, предпочел им честную бедность. Уклонившись от палаты перов, где долго раздавался красноречивый его голос, Шатобриан приходит в книжную лавку с продажной рукописью, но с неподкупной совестью.<sup>110</sup> После этого что скажет критика? станет ли она строгостию оценки смущать благородного труженика и, подобно скупому покупщику, хулить его товар? Но Шатобриан не имеет нужды в снисхождении: к своему переводу присовокупил он два тома, столь же блестящие, как и все прежние его произведения, и критика может оказаться строгою к их недостаткам столько, сколько ей будет угодно: несомненные красоты, страницы, достойные лучших времен великого писателя, спасут его книгу от пренебрежения читателей, несмотря на все ее недостатки.

Английские критики строго осудили *Опыт об английской литературе*. Они нашли его слишком поверхностным, слишком недостаточным; поверив заглавию, они от Шатобриана требовали ученой критики и совершенного знания предметов, близко знакомых им самим; но совсем не того должно было искать в сем блестящем обозрении. В ученой критике Шатобриан не тверд, робок, и сам не свой; он говорит о писателях, которых не читал; судит о них вскользь и понаслышке и кое-как отделяется от скучной должности библиографа; но поминутно из-под пера его вылетают вдохновенные страницы; он поминутно забывает критические изыскания и на свободе развивает свои мысли о великих исторических эпохах, которые сближает с теми, коим сам он был свидетель. Много искренности, много сердечного красноречия, много простодушия (иногда детского, но всегда привлекательного) в сих отрывках, чуждых истории английской литературы, но которые и составляют истинное достоинство *Опыта*.

Книга Шатобриана начинается быстрым и широким изображением средних веков, служащим введением в «Историю английской литературы»:

«Порядок общественный, вне порядка политического, составлен из религии, умственной деятельности и промышленности материальной. Во всяком народе, во время величайших бедствий и важнейших событий, священник молится, стихотворец поет, ученый мыслит, живописец, ваятель, зодчий творят и зиждут, ремесленник работает. Смотря только на них, вы видите мир настоящий, истинный, неподвижный, основание человечества, однако повидимому чуждый обществу политическому. Но священник в своей молитве, поэт, художник, ученый в своих творениях, ремесленник в своем труде – открывают от времени до времени, в какую эпоху они живут, в них отзываются удары событий, от которых сильнее и обильнее текли их жалобы, их пот и дары вдохновения...

Средние века представляют картину странную и которая кажется произведением мощного, но расстроенного воображения. В древности каждый народ исхо-

дит, так сказать, из собственного своего источника, некий первобытный дух проникает во все и во всем отзывается, нравы и гражданские установления делаются однородными. Общество в средних веках было составлено из обломков тысячи других обществ. Римская цивилизация и паганизм в нем оставили свои следы; христианская религия несла ему свое учение и торжества; франки, готфы, бургундцы, англо-саксы, датчане, норманцы сохраняли обычаи и нравы, свойственные их племенам. Все роды собственности и законов были перемешаны между собою... все формы свободы и рабства сталкивались между собою: монархическая свобода короля, аристократическая свобода благороднорожденного, личная свобода священника, общая свобода волостей, исключительная свобода городов, судилищ, сословий ремесленных и купечества, представительная свобода народа, рабство римское, повинность варварских племен, крепость приземельная. Отсебя явления несообразные ни с чем, обычаи один другому противуречащие и связанные только узами религии. Кажется, будто народы разные, не имеющие между собою никакого сношения, согласились жить под единою властью, около единого алтаря...»

1836

\* \* \*

### [Шотландская пословица]

Ворон ворону глаза не выкльонет – шотландская пословица, приведенная В. Скоттом в *Woodstock*.<sup>111</sup>  
(1836)

## Письма

**Н.И. Кривцову.**

Вторая половина июля – начало августа 1819 г.

Помнишь ли ты, житель свободной Англии,<sup>112</sup> что есть на свете Псковская губерния, твой ленивец, которого ты верно помнишь, который о тебе каждый день грустит, на которого сердиться и... Я не люблю писать писем. Язык и голос едва ли достаточны для наших мыслей – а перо так глупо, так медленно – письмо не может заменить разговора. Как бы то ни было, я виноват, зная, что мое письмо может на минуту напомнить тебе об нашей России, о вечерах у Тургеневых и Карамзиных.

**А.А. Дельвигу.**

23 марта 1821 г.

<...> Ты всё тот же – талант прекрасный и ленивый. Долго ли тебе шалить, долго ли тебе разминывать свой гений на серебряные четвертаки. Напиши поэму славленную, только не четыре части дня и не четыре времени года, напиши своего Монаха. Поэзия мрачная, богатырская, сильная, байроническая – твой истинный удел – умертви в себе ветхого человека – не убивай вдохновенного поэта. Что до меня, моя радость, скажу тебе, что кончил я новую поэму – *Кавказский Пленник*, которую надеюсь скоро вам прислать. Ты ею не совсем будешь доволен и будешь прав; еще скажу тебе, что у меня в голове бродят еще поэмы, но что теперь ничего не пишу. Я перевариваю воспоминания и надеюсь набрать вскоре новые; чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости – как не воспоминаниями? – <...>

**П.А. Вяземскому.**

2 января 1822 г.

<...> Жуковской меня бесит – что ему понравилось в этом Муре? чопорном подражателе безобразному восточному воображению? Вся *Лалла-рук*<sup>113</sup> не стоит десяти строчек Тристрама Шанди<sup>114</sup>; пора ему иметь собственное воображение и крепостные вымыслы. <...>

**Н.И. Гнедичу.**

29 апреля 1822 г. [Черновой вариант]

В самом деле недостатки этой повести, поэмы или чего вам угодно, так явны, что я долго не мог решиться ее напечатать. Простота плана близко подходит к бедности изобретения; описание нравов черкесских, самое сносное место во всей поэме, не связано ни с каким происшествием и есть не что иное как географическая статья или отчет путешественника. <...>

Местные краски верны, но понравятся ли читателям, избалованным поэтическими панорамами Байрона и Вальтера Скотта – я боюсь и напомнить об них своими бледными рисунками – сравнение мне будет убийственно. <...>

Вы видите, что отеческая нежность не ослепляет меня насчет Кавказского Пленника, но, признаюсь, люблю его сам, не зная за что, в нем есть стихи моего сердца. <...>

**Н.И. Гнедичу.**

27 июня 1822 г.

<...> С нетерпением ожидаю Шильонского узника;<sup>115</sup> это не чета Пери и достойно такого переводчика, каков певец Громобоя и Старушки. Впрочем мне досадно, что он переводит и переводит отрывками – иное дело Тасс, Ариост и Гомер, иное дело песни Маттисона и уродливые повести Мура. Когда-то говорил он мне о поэме *Родрик Саувея*<sup>116</sup>; попросите его от меня, чтоб он оставил его в покое, несмотря на просьбу одной прелестной дамы. Английская словесность начинает иметь влияние на русскую. Думаю, что оно будет полезнее влияния французской поэзии, робкой и жеманной. <...>

**П.А. Вяземскому.**

1 сентября 1822 г.

<...> «Шильонского Узника» еще не читал. То, что видел в Сыне Отечества, прелестно...

Он на столбе, как вешний цвет,  
Висел с опущенной главой. <...>

**Л.С. Пушкину.**

4 сентября 1822 г.

<...> Кстати, об стихах: то, что я читал из «Шильонского Узника», прелесть. <...>

**Н.И. Гнедичу.**

27 сентября 1822 г.

Приехали Пленники – и сердечно вас благодарю, милый Николай Иванович. <...> Перевод Жуковского est un tour de force. Злодей! в бореньях с трудностью силач необычайный! Должно быть Байроном, чтоб выразить с столь страшной истиной первые признаки сумасшествия, а Жуковским, чтоб это перевыразить. Мне кажется, что слог Жуковского в последнее время ужасно возмужал, хотя утратил первоначальную прелесть. Уж он не напишет ни Светланы, ни Людмилы, ни прелестных элегий 1-ой части Спящих Дев. Дай Бог, чтоб он начал создавать. <...>



**П.А. Вяземскому.**

5 апреля 1823 г.

Мои надежды не сбылись: мне нынешний год нельзя будет приехать ни в Москву, ни в Петербург. Если летом ты поедешь в Одессу, не завернешь ли по дороге в Кириллов? я познакомлю тебя с героями Скулян и Секу, сподвижниками Иордаки, и с гречанкою, которая целовалась с Байроном<sup>117</sup>. <...>

**А.Н. Раевскому (?).**

15-22 октября 1823 г.

(Черновое)

Je réponds à votre P.S. comme à ce qui intéresse surtout votre vanité. Madame Sobansky n'est pas encore de retour à Odessa, je n'ai donc pas encore pu faire usage de votre lettre, en deuxième lieu comme ma passion a baissé de beaucoup et qu'en attendant je suis amoureux ailleurs – j'ai réfléchi. Et comme Lara Hansky assis sur mon canapé, j'ai décidé de ne plus me mêler de cette affaire-là. C'est-à-dire que je ne montrerai pas votre épître à M-me Sobansky comme j'en avais d'abord eu l'intention (en ne lui cachant que ce que jettait sur vous l'intérêt d'un caractère Melmothique) – et voici ce que je me suis proposé – votre lettre ne sera que citée avec les restrictions convenables; en revanche j'y ai préparé tout au long une belle réponse dans laquelle je me donne sur vous tout autant d'avantages que vous en avez pris sur moi dans votre lettre, j'y commence par vous dire: je ne suis pas votre dupe, aimable Job Lovelace, je vois votre vanité et votre faiblesse à travers l'affectation de votre cynisme etc., le reste dans le même genre. Croyez que ça fasse de l'effet – mais comme je vous estime toujours pour mon maître en fait de morale, je vous demande pour tout cela votre permission et surtout vos conseils, – mais dépêchez-vous, car on arrive. J'ai eu de vos nouvelles, on m'a dit qu'Atala Hansky vous avait rendu fat et ennuyeux – votre dernière lettre n'est pas ennuyeuse. Je souhaite que la mienne puisse un moment vous distraire dans vos douleurs. <...><sup>118</sup>

[Отвечаю на вашу приписку, так как она более всего занимает ваше тщеславие. Г-жа Собаньская еще не вернулась в Одессу, следовательно, я еще не мог пустить в ход ваше письмо; во-вторых, так как моя страсть в значительной мере ослабела, а тем временем я успел влюбиться в другую, я раздумал. И, подобно Ларе Ганскому, сидя у себя на диване, я решил более не вмешиваться в это дело. Т.е. я не стану показывать вашего послания г-же Собаньской, как сначала собирался это сделать, скрыв от нее только то, что придавало вам интерес Мельмотовского героя, – и вот как я намереваюсь поступить. Из вашего письма я прочту лишь выдержки с надлежащими пропусками; со своей стороны, я приготовил обстоятельный, прекрасный ответ на него, где побиваю вас в такой же мере, в какой вы побили меня в своем письме; я начинаю в нем с того, что говорю: «Вы меня не проведете, милейший Иов Ловлас; я вижу ваше тщеславие и ваше слабое место под напускным цинизмом» и т.д.; остальное – в том же роде. Не кажется ли вам, что это произведет впечатление? Но так как вы – мой неизменный учитель в делах нравственных, то я прошу у вас разрешения на все это, и в особенности – ваших советов; но торопитесь, потому что скоро приедут. Я получил известия о вас; мне передавали, что Атала Ганская сделала из вас фата и человека скучного, – ваше последнее письмо совсем не скучно. Хотел бы, чтобы мое хоть на минуту развлекло вас в ваших горестях. <...>]

**П.А. Вяземскому.**

11 ноября 1823 г.

Вот тебе и Разбойники<sup>119</sup>. Истинное происшествие подало мне повод написать этот отрывок. В 1820 году, в бытность мою в Екатеринославле, два разбойника, закованные вместе, переплыли через Днепр и спаслись. Их отдых на острове, потопление одного из стражей мною не выдуманы. Некоторые стихи напоминают перевод *Шильонского узника*. Это несчастье для меня. Я с Жуковским сошелся нечаянно, отрывок мой написан в конце 1821 года.

**А.А. Бестужеву.**

12 января 1824 г.

<...> Повторяю тебе в последний раз мои пени и просьбы и обнимаю тебя sans gaucune и с благодарностью за всё остальное – прозу и стихи. Ты – всё ты: т.е. мил, жив, умен.<...> Прощай, мой милый Walter.<sup>120</sup> <...>

**Л.С. Пушкину.**

Январь (после 12) – начало февраля 1824 г.

<...> Душа моя, меня тошнит с досады – на что ни взгляну, все такая гадость, такая подлость, такая глупость – долго ли этому быть? Кстати о гадости – читал я Федру Лобанова – хотел писать на нее критику, не ради Лобанова, а ради маркиза Расина – перо вывалилось из рук. И об этом у вас шумят, и это называют ваши журналисты прекраснейшим переводом известной трагедии г. Расина! *Vous allez vous découvrir la trace de ses pas* – надеешься найти

Тезя жаркий след иль темные пути –

мать его в рифму! вот как всё переведено. А чем же и держится Иван Иванович Расин, как не стихами, полными смысла, точности и гармонии! План и характеры Федры верх глупости и ничтожества в изобретении – Тезей не что иное, как первый Мольеров рогац, Ипполит, *le superbe, le fier Hypolite – et même un peu farouche* [надменный, гордый Ипполит, даже несколько дикий], Ипполит, суровый скифский <. . . .> – ни что иное, как благовоспитанный мальчик, учтивый и почтительный –

*D'un mensonge si noir...* и проч.

[Столь черной ложью]

прочти всю эту хваленую тираду и удостоверись, что Расин понятия не имел об создании трагического лица. Сравни его с речью молодого любовника Паризины Байроновой, увидишь разницу умов. <...><sup>121</sup>

**В.К. Кюхельбекеру (?).**

Апрель – первая половина мая (?) 1824 г.

(Отрывок)

Читая Шекспира и Библию, Святой Дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гёте и Шекспира. – Ты хочешь знать, что я делаю – пишу пестрые строфы романтической поэмы – и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой фило-

соф, единственный умный афей<sup>122</sup>, которого я еще встретил. Он исписал листов 1000, чтобы доказать, qu'il ne peut exister d'être intelligent Créateur et régulateur [Что не может быть существа разумного, Творца и правителя], мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобная.

**П.А. Вяземскому.**  
24–25 июня 1824 г.

<...> По твоим письмам к княгине Вере вижу, что и тебе и кюхельбекерно и тошно; тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии. Гений Байрона бледнел с его молодостию. В своих трагедиях, не выключая и Каина, он уж не тот пламенный демон, который создал Гяура и Чильд Гарольда. Первые 2 песни Дон Жуана выше следующих. Его поэзия видимо изменялась. Он весь создан был навыворот; постепенности в нем не было, он вдруг созрел и возмужал – пропел и замолчал; и первые звуки его уже ему не возвратились – после 4-ой песни Child-Harold Байрона мы не слышали, а писал какой-то другой поэт с высоким человеческим талантом. Твоя мысль воспеть его смерть в 5-ой песне его Героя прелестна – но мне не по силам – Греция мне огадила. О судьбе греков позволено рассуждать, как о судьбе моей братья негров, можно тем и другим желать освобождения от рабства нестерпимого. Но чтобы все просвещенные европейские народы бредили Грецией – это непростительное ребячество. Иезуиты натолковали нам о Фемистокле и Перикле, а мы вообразили, что пакостный народ, состоящий из разбойников и лавошников, есть законнорожденный их потомок и наследник их школьной славы. Ты скажешь, что я переменил свое мнение. Приехал бы ты к нам в Одессу посмотреть на соотечественников Мильтиада и ты бы со мною согласился. Да посмотри, что писал тому несколько лет сам Байрон в замечаниях на Child Harold – там, где он ссылается на мнение Фовеля, французского консула, помнится, в Смирне. – Обещаю тебе однакож вирши на смерть его превосходительства. <...>

**П.А. Вяземскому.**  
8 или 10 октября 1824 г.

<...> сегодня кончил я поэму Цыгане. Не знаю, что об ней сказать. Она покамест мне опротивела, только что кончил и не успел обмыть<—>. Посылаю тебе маленькое поминаньице за упокой души раба Божия Байрона<sup>123</sup> – я было и целую панихиду затеял, да скучно писать про себя – или справляясь в уме с таблицей умножения глупости Бирукова, разделенного на Красовского. Брат Лайон тебе кланяется. Пришли мне стихов, умираю скучно.

**Л.С. Пушкину.**  
Первая половина ноября 1824 г.

<...> Стихов, стихов, стихов! Conversations de Byron!<sup>124</sup> Walter Scott! это пища души. Знаешь ли мои занятия? до обеда пишу записки, обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма! <...>

**Л.С. Пушкину.**

Начало 20-х чисел ноября 1824 г.

<...> Образ жизни моей всё тот же, стихов не пишу, продолжаю свои Записки да читаю Клариссу<sup>125</sup>, мочи нет какая скучная дура! <...>

**П.А. Вяземскому.**

29 ноября 1824 г.

<...> Что ж, душа моя, твоя проза о Байроне? я жду, не дождусь<sup>126</sup>. <...>

**Л.С. Пушкину.**

Конец января – первая половина февраля 1825 г.

<...> Жду шума от Онегина; покаместь мне довольно скучно; ты мне не при-  
сылаешь Conversations de Byron,<sup>127</sup> добро! но, милый мой, если только возмож-  
но, отыщи, купи, выпроси, укради Записки Фуше и давай мне их сюда; за них  
отдал бы я всего Шекспира; ты не воображаешь, что такое Fouché! Он мне оча-  
ровательнее Байрона.<...>

**П.А. Вяземскому.**

19 февраля 1825 г.

<...> Что же Телеграф обетованный? <...> Прочие журналы все получаю – и  
более чем когда-нибудь чувствую необходимость какой-нибудь Edinburgh  
review<sup>128</sup>.<...>

**Л.С. Пушкину.**

14 марта 1825 г.

<...> Душа моя, горчицы, рому, что-нибудь в уксусе – да книг: Conversations  
de Byron, Mémoires de Fouché, Талию, Старину, да Sismondi (littérature) да Schlegel  
(dramaturgie).<...> Хотел бы я также иметь Новое Издание Собрания Русских  
Стихотворений, да дорого – 75 р. Я и за всю Русь столько не даю. <...>

**А.А. Бестужеву.**

24 марта 1825 г.

Во-первых пришли мне свой адрес, чтоб я не докучал Булгарину. Рылееву не  
пишу. Жду сперва Войнаровского. Скажи ему, что в отношении мнения Байрона  
он прав<sup>129</sup>. Я хотел было покривить душой, да не удалось. И Bowles и Byron в  
своем споре завались; у меня есть на то очень дельное опровержение. <...>

Твое письмо очень умно, но всё-таки ты неправ, всё-таки ты смотришь на  
Онегина не с той точки, всё-таки он лучшее произведение мое. Ты сравниваешь  
первую главу с Дон Жуаном. – Никто болес меня не уважает Дон Жуана (первые  
5 песен, других не читал), но в нем ничего нет общего с Онегиным. Ты гово-  
ришь о сатире англичанина Байрона и сравниваешь ее с моею, и требуешь от  
меня таковой же! Нет, моя душа, многого хочешь. Где у меня сатира? о ней и  
помину нет в Евгении Онегине. У меня бы затрещала набережная, если б коснул-  
ся я сатиры. Самое слово сатирический не должно бы находиться в преди-  
словии<sup>130</sup>. Дождись других песен... Ах! Если б заманить тебя в Михайлов-

ское! ты увидишь, что если уж и сравнивать Онегина с Дон Жуаном, то разве в одном отношении: кто милее и прелестнее (*gracieuse*), Татьяна или Юлия?<sup>131</sup> 1-ая песнь просто быстрое введение и я им доволен (что очень редко со мною случается). Сим заключаю полемику нашу... <...>

**П.А. Вяземскому.**

Конец марта – начало апреля 1825 г.

<...> Кланяйся Давыдову, который забыл меня. Сестра Ольга в него влюблена и поделом. Кстати или нет: он критиковал ей в Бахчисарайском фонтане Заремины очи. Я бы с ним согласился, если б дело шло не о востоке. Слог восточный был для меня образцом, сколько возможно нам, благоразумным, холодным европейцам. Кстати еще – знаешь, почему не люблю я Мура? – потому что он чересчур уже восточен. Он подражает ребячески и уродливо – ребячеству и уродливости Саади, Гафиза и Магомета. – Европейец, и в упоении восточной роскоши, должен сохранить вкус и взор европейца. Вот почему Байрон так и прелестен в Гяуре, в Абидосской Невесте и проч. –

**П.А. Вяземскому.**

7 апреля 1825 г.

Нынче день смерти Байрона<sup>132</sup> – я заказал с вечера обедню за упокой его души. Мой поп удивился моей набожности и вручил мне просвиру, вынутую за упокой раба Божия боярина Георгия. Отсылаю ее к тебе. <...>

**Л.С. Пушкину.**

7 апреля 1825 г.

<...> Я заказал обедню за упокой души Байрона (сегодня день его смерти). Анна Николаевна также, и в обеих церквях Тригорского и Воронича происходили молебствия. Это немножко напоминает *la Messe de Frédéric II pour le repos de l'âme de M-r de Voltaire*. Вяземскому посылаю вынутую просвиру отцом Шкодой – за упокой поэта.

**Л.С. Пушкину.**

22 и 23 апреля 1825 г.

*Фуше, Oeuvres dramatiques de Schiller, Schlegel, Don Juan* (последние 6-ая и пр. песни)<sup>133</sup>, новое Walter Scott, *Сибирский Вестник весь*<...> – Вино, вино, ром (12 бутылок), горчицы, *Fleur d'Orange*, чемодан дорожный. *Сыру лимбургского* (книгу об верховой езде – хочу жеребцов выезжать: вольное подражание *Alfieri* и Байрону). <...>

**Л.С. Пушкину.**

Первая половина мая 1825 г.

<...> Подпись слепого поэта<sup>134</sup> тронула меня несказанно. Повесть его прелесть – сердись он, не сердись – а *хотел простить* – *простить не мог* достойно Байрона. Видение, конец прекрасны. Послание, может быть, лучше поэмы – по крайней мере ужасное место, где поэт описывает свое затмение, останется веч-

ным образцом мучительной поэзии. Хочется отвечать ему стихами, если успех, пошлю их с этим письмом. <...>

Если можно пришли мне последнюю *Genlis* – да Child-Harold – Lamartine (то-то чепуха должна быть!) <...>.<sup>135</sup>

А.А. Бестужеву.

Конец мая – начало июня 1825 г.

Отвечаю на первый параграф твоего Взгляда. У римлян век посредственно-сти предшествовал веку *гениев* – грех отнять это титул у таковых людей, каковы Virgilius, Гораций, Тибулл, Овидий и Лукреций, хотя они\* – кроме двух последних, шли столбовою дорогою подражания. Критики греческой мы не имеем. В Италии Dante и Petrarca предшествовали Тассу и Ариосту, сии предшествовали Alfieri и Foscolo. У англичан Мильтон и Шекспир писали прежде Аддисона и Попа, после которых явились Southey, Walter Scott, Moog и Вултон – из этого мудрено вывести какое-нибудь заключение или правило. Слова твои вполне можно применить к одной французской литературе.<...>

Отчего у нас нет гениев и мало талантов? Во-первых, у нас Державин и Крылов – во-вторых, где же бывает много талантов.

Ободрения у нас нет – и слава Богу! отчего же нет? Державин, Дмитриев были в ободрение сделаны министрами. Век Екатерины – век ободрений; от этого он еще не ниже другого. Карамзин, кажется, ободрен; Жуковский не может жаловаться, Крылов также. Гнедич в тишине кабинета совершает свой подвиг; посмотрим, когда появится его Гомер. Из неободренных вижу только себя да Баратынского – и не говорю: слава Богу! Ободрение может оперить только обыкновенные дарования. Не говорю об Августовом веке. Но Тасс и Ариост оставили в своих поэмах следы княжеского покровительства. Шекспир лучшие свои комедии написал по заказу Елизаветы. Мольер был камердинером Людовика; бессмертный Тартюф, плод самого сильного напряжения комического гения, обязан бытием своим заступничеству монарха; Вольтер лучшую свою поэму писал под покровительством Фридерика... Державину покровительствовали три царя – ты не то сказал, что хотел; я буду за тебя говорить.

Так! мы можем праведно гордиться: наша словесность, уступая другим в роскоши талантов, тем пред ними отличается, что не носит на себе печати рабского унижения. Наши таланты благородны, независимы. <...> Иностранцы нам изумляются – они отдают нам полную справедливость – не понимая, как это сделалось. Причина ясна. У нас писатели взяты из высшего класса общества – аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою – а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин. – дьявольская разница!<sup>136</sup>

Всё, что ты говоришь о нашем воспитании, о чужестранных и междуусобных (прелесть!) подражателях – прекрасно, выражено сильно, и с красноречием сердечным. Вообще мысли в тебе кипят. Об *Онегине* ты не высказал всего, что имел на сердце; чувствую почему и благодарю – но зачем же ясно не обнаружить своего мнения? – покамест мы будем руководствоваться личными нашими отношениями, критики у нас не будет – а ты достоин ее создать.

\* Виноват! Гораций не подражатель!

Твой Турнир напоминает Турниры W. Scott'a. Брось этих немцев и обратись к нам православным; да полно тебе писать *быстрые* повести с романтическими переходами – это хорошо для поэмы байронической. Роман требует *болтовни*; высказывай всё начисто. Твой Владимир говорит языком немецкой драмы <...>. <sup>137</sup>

### Н.Н. Раевскому-сыну.

Вторая половина июля (после 19) 1825 г.

(Черновое)

<...> En attendant je suis très isolé: la seule voisine que j'allais voir est partie pour Riga et je n'ai à la lettre d'autre compagnie que ma vieille bonne et ma tragédie<sup>138</sup>; celle-ci avance et j'en suis content. En l'écrivant j'ai réfléchi sur la tragédie en général. C'est peut-être le genre le plus méconnu. Les classiques et les romantiques ont tous basé leurs loix sur la *vraisemblance*, et c'est justement elle qu'exclut la nature du drame. Sans parler déjà du temps etc. quel diable de vraisemblance y a-t-il dans une salle coupée en deux moitiés dont l'une est occupée par deux mille personnes, qui sont censées n'être pas vues par ceux qui sont sur les planches<...>

La vraisemblance des situations et la vérité du dialogue – voilà la véritable règle de la tragédie. (Je n'ai pas lu Calderon ni Vega) mais quel homme que ce Schakespeare! je n'en reviens pas. Comme Byron le tragique est mesquin devant lui! Ce Byron qui n'a jamais conçu qu'un seul caractère (les femmes n'ont pas de caractère, elles ont des passions dans leur jeunesse: et voilà pourquoi il est si facile de les peindre), ce Byron donc a partagé entre ses personnages tel et tel trait de son caractère; son orgueil à l'un, sa haine à l'autre, sa mélancolie au troisième etc. et c'est ainsi que d'un caractère plein, sombre et énergique il a fait plusieurs caractères insignifiants – ce n'est pas là de la tragédie.

On a encore une manie: quand on a conçu un caractère, tout ce qu'on lui fait dire, même les choses les plus étrangères, en porte essentiellement l'empreinte (comme les pédants et les marins des vieux romans de Fielding). Un conspirateur dit: *Donnez-moi à boire* en conspirateur – ce n'est que ridicule. Voyez le Haineux de Byron<sup>139</sup> (*ha pagato*) cette monotonie, cette affectation de laconisme, de rage continue, est-ce la nature? De là cette gêne et cette timidité de dialogue. Voyez Schakespeare. Lisez Schakespeare, il ne craint jamais de compromettre son personnage, il le fait parler avec tout l'abandon de la vie, car il est sûr en temps et lieu de lui faire trouver le langage de son caractère.

Vous me demanderez: votre tragédie est-elle une tragédie de caractère ou de coutume? J'ai choisi le genre le plus aisé, mais j'ai tâché de les unir tous deux. J'écris et je pense. La plupart des scènes ne demandent que du raisonnement; quand j'arrive à une scène qui demande de l'inspiration, j'attends ou je passe par-dessus – cette manière de travailler m'est tout-à-fait nouvelle. Je sens que mon âme s'est tout-à-fait développée, je puis créer.

[Покамест я живу в полном одиночестве: единственная соседка, у которой я бывал, уехала в Ригу, и у меня буквально нет другого общества, кроме старушки-няни и моей трагедии; последняя подвигается, и я доволен этим. Сочиняя ее, я стал размышлять над трагедией вообще. Это, может быть, наименее правильно понимаемый род поэзии. И классики и романтики основывали свои правила на *правдоподобии*, а между тем именно оно-то и исключается самой природой драматического произведения. Не говоря уже о времени и проч., какое, к черту, может быть правдоподобие в зале, разделенной на две половины, в одной из коих

помещается две тысячи человек, будто бы невидимых для тех, кто находится на подмостках.

Правдоподобие положений и правдивость диалога – вот истинное правило трагедии. (Я не читал ни Кальдерона, ни Веги), но до чего изумителен Шекспир! Не могу прийти в себя. Как мелок по сравнению с ним Байрон-трагик! Байрон, который создал всего-навсего один характер (у женщин нет характера, у них бывают страсти в молодости: вот почему так легко изображать их), этот самый Байрон распределил между своими героями отдельные черты собственно-го характера; одному он придал свою гордость, другому – свою ненависть, третьему – свою тоску и т.д., и таким путем из одного цельного характера, мрачного и энергичного, создал несколько ничтожных – это вовсе не трагедия.

Существует еще такая замашка: когда писатель задумал характер какого-нибудь лица, то что бы он ни заставлял его говорить, хотя бы самые посторонние вещи, всё носит отпечаток данного характера (таковы педанты и моряки в старых романах Фильдинга). Заговорщик говорит: *Дайте мне нить*, как заговорщик – это просто смешно. Вспомните Озлобленного у Байрона (*ha pagato!*)\* – это однообразие, этот подчеркнутый лаконизм, эта непрерывная ярость, разве всё это естественно? Отсюда эта принужденность и робость диалога. Вспомните Шекспира. Читайте Шекспира, он никогда не боится скомпрометировать своего героя, он заставляет его говорить с полнейшей непринужденностью, как в жизни, ибо в надлежащую минуту и при надлежащих обстоятельствах он найдет для него язык, соответствующий его характеру.

Вы спросите меня: а ваша трагедия – трагедия характеров или нравов? Я избрал наиболее легкий род, но попытался соединить и то и другое. Я пишу и размышляю. Большая часть сцен требует только рассуждения; когда же я дохожу до сцены, которая требует вдохновения, я жду его или пропускаю эту сцену – такой способ работы для меня совершенно нов. Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить.]

## П.А. Вяземскому.

Вторая половина ноября 1825 г.

<...> Твоя статья о Аббатстве Байрона?<sup>140</sup> Что за чудо Дон Жуан! Я знаю только 5 первых песен; прочитав первые 2, я сказал тотчас Раевскому, что это Chef-d'œuvre Байрона, и очень обрадовался, после увидя, что Walter Scott моего мнения. Мне нужен английский язык – и вот одна из невыгод моей ссылки: не имею способов учиться, пока пора. Грех гонителям моим!<...>

Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона?<sup>141</sup> чорт с ними! Слава Богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах, невольно, увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностью, то марая своих врагов. Его бы уличили, как уличили Руссо – а там злоба и клевета снова бы торжествовали. Оставь любопытство толпе и будь заодно с Гением. Поступок Мура лучше его Лалла-Рук (в его поэтическом отношении). Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции. – Охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости, она в восхищении. *Он мал, как мы, он мерзок, как мы!*

\* Он заплатил!



Вреге, подлецы: он и мал и мерзок – не так, как вы – иначе. – Писать свои Mémoires заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать – можно; быть искренним – невозможность физическая. Перо иногда остановится, как с разбега перед пропастью – на том, что посторонний прочел бы равнодушно. Презирать – *braver* – суд людей не трудно; презирать суд собственный невозможно.

**П.А. Катенину.**

4 декабря 1825 г.

<...> Как верный подданный, должен я, конечно, печалиться о смерти государя; но, как поэт, радуюсь восшествию на престол Константина I. В нем очень много романтизма; бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем напоминают Генриха V<sup>142</sup>. – К тому ж он умен, а с умными людьми всё как-то лучше; словом я надеюсь от него много хорошего. <...>

**В.К. Кюхельбекеру.**

1–6 декабря 1825 г.

Прежде чем поблагодарю тебя, хочу с тобою побораниться. Получив твою комедию<sup>143</sup>, я надеялся найти в ней и письмо. Я трес, трес ее и ждал не выпадет ли хоть четвертушка почтовой бумаги; напрасно: ничего не выдрочил и со злости духом прочел Духов\*, сперва про себя, а потом и вслух. Нужна ли тебе моя критика? Нет! не правда ли? всё равно; критикую: ты сознаешься, что характер поэта не правдоподобен; сознание похвальное, но надобно бы сию неправдоподобность оправдать, извинить в самой комедии, а не в предисловии. Поэт мог бы сам совеститься, стыдиться своего суеверия: отселе новые, комические черты. Зато Калибан – прелесть. Не понимаю, что у тебя за охота пародировать Жуковского. Это простительно Цертелеву, а не тебе. Ты скажешь, что насмешка падает на подражателей, а не на него самого. Милый, вспомни, что ты, если пишешь для нас, то печатаешь для черни; она принимает вещи буквально. Видит твое неуважение к Жуковскому и рада.

*Сир* слово старое. Прочтут иные *сыр* etc. – очень мило и дельно. От жеманства надобно нас отучать. – Пас стада главы моей (вшей?). Впрочем везде, где поэт бредит Шекспиром, его *легкое воздушное творенье*, речь Ариеля и последняя тирада – прекрасно. О стихосложении скажу, что оно небрежно, не всегда натурально, выражения не всегда точно-русские – например, *слушать в оба уха*, *брось вид угрюмый*, *взгляд унылый*, молодец ретивый, *сдернет чепец на старухе* etc. Всё это я прошая для Калибана, который чудо как мил.<...>

**П.А. Плетневу.**

4–6 декабря 1825 г.

Милый, дело не до стихов – слушай *в оба уха*: Если я друзей моих не слишком отучил от ходатайства, вероятно они вспомнят обо мне... Если братъ, так братъ – не то, что и совести марасть – ради Бога, не просить у царя позволения мне жить в Опочке или в Риге; чорт ли в них? *а просить или о въезде в столицы, или о чужих краях*. В столицу хочется мне для вас, друзья мои, – хочется с

\* *Calembour! reconnais-tu le sang?*

вами еще перед смертью поврать; но, конечно, благоразумнее бы отправиться за море. Что мне в России делать? Покажи это письмо Жуковскому, который, может быть, на меня сердит. Он как-нибудь это сладит. Да нельзя ли дам взбуроражить?.. Душа! я пророк, ей-Богу пророк! Я Андрея Шенье велю напечатать церковными буквами во имя Отца и Сына etc. – выписывайте меня, красавцы мои, а не то не я прочту вам трагедию свою. Кстати: Борька также вывел юродивого в своем романе<sup>144</sup>. И он байроничает, описывает самого себя! – мой юродивый, впрочем, гораздо милее Борьки – увидишь.<...> Кюхельбекера *Духи* – дрянь; стихов хороших очень мало; вымысла нет никакого. Предисловие одно порядочно. – Не говори этого ему – он огорчится.<...>

**А.П. Керн.**

8 декабря 1825 г.

Je ne m'attendais guère, enchanteresse, à votre souvenir, c'est du fond de mon âme que je vous en remercie. Byron vient d'acquérir pour moi un nouveau charme – toutes ses héroïnes vont revêtir dans mon imagination des traits qu'on ne peut oublier. C'est vous que je verrai dans Gulnare et dans Leila<sup>145</sup> – l'idéal de Byron lui même ne pouvait être plus divin. C'est donc vous, c'est toujours vous que le sort envoie pour enchanter ma solitude! Vous êtes l'ange de consolation – mais je ne suis qu'un ingrat, puisque je murmure encore... Vous *allez* à Petersbourg, mon exil me pèse plus que jamais. Peut-être que le changement qui vient d'arriver me rapprochera de vous, je n'ose l'espérer. Ne croyons pas à l'espérance, ce n'est qu'une jolie femme, elle nous traite en vieux maris. Que fait le vôtre, mon doux génie? Savez que c'est sous ses traits que je m'imagine les ennemis de Byron, y compris sa femme.<...>

[Никак не ожидал, чародейка, что вы вспомните обо мне, от всей души благодарю вас за это. Байрон получил в моих глазах новую прелесть – все его героини примут в моем воображении черты, забыть которые невозможно. Вас буду видеть я в образах и Гюльнары и Лейлы – идеал самого Байрона не мог быть божественнее. Вас, именно вас посылает мне всякий раз судьба, дабы усладить мое уединение! Вы – ангел-утешитель, а я – неблагодарный, потому что смею еще роптать... Вы едете в Петербург, и мое изгнание тяготит меня более, чем когда-либо. Быть может, перемена, только что происшедшая, приблизит меня к вам, не смею на это надеяться. Не стоит верить надежде, она – лишь хорошенькая женщина, которая обращается с нами, как со старым мужем. Что подельывает ваш муж, мой нежный гений? Знаете ли вы, что в его образе я представляю себе врагов Байрона, в том числе и его жену.<...>]

**А.А. Дельвигу.**

Начало февраля 1826 г.

Насилу ты мне написал и то без толку, душа моя. Вообрази, что я в глуши ровно ничего не знаю, переписка моя отсюда прекратилась, а ты пишешь мне, как будто вчера мы целый день были вместе и наговорились досыга. Конечно, я ни в чем не замешан, и если правительству досуг подумать обо мне, то оно в том легко удостоверится. Но просить мне как-то совестно, особенно ныне; образ мыслей моих известен. Гонимый 6 лет сряду, замаранный по службе выключкою, сосланный в глухую деревню за две строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному царю, хотя и отдавал полную

справедливость истинным его достоинствам – но никогда я не проповедовал ни возмущений, ни революции – напротив. Класс писателей, как заметил Alfieri, более склонен к умозрению, нежели к деятельности, и если 14 декабря доказало у нас иное, то на то есть особая причина. Как бы то ни было, я желал бы *вполне и искренно* помириться с правительством, и, конечно, это ни от кого, кроме его, не зависит. В этом желании более благоразумия, нежели гордости с моей стороны.

С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнаружение заговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя. Не будем ни суверены, ни односторонни – как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира.<...>

### П.А. Катенину.

Первая половина февраля 1826 г.

<...> Будущий альманах радует меня несказанно, если разбудит он тебя для поэзии. Душа просит твоих стихов; но знаешь ли что? Вместо альманаха не затеять ли нам журнала в роде *Edinburgh Review*? Голос истинной критики необходим у нас<sup>146</sup><...>.

### П.А. Вяземскому.

27 мая 1826 г.

<...> Мы в сношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда – при англичанах дурачим Василья Львовича; пред *M-me de Staël* заставляем Милорадовича отличиться в мазурке. Русский барин кричит: Мальчик! забавляй Гекторку (датского кобеля). Мы хохочем и переводим эти барские слова любопытному путешественнику. Всё это попадает в его журнал и печатается в Европе – это мерзко. Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног – но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если царь даст мне слободу, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и <—> – то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-ой песне Онегина я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно – услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится – ай-да умница.<...>

### С.А. Соболевскому.

Вторая половина февраля 1828 г.

Безалаберный!

Ты ничего не пишешь мне о 2100 р., мною тебе должных<...> – Вот в чем дело: хочешь ли оную сумму получить с Московского Вестника – узнай, в состоянии ли они мне за нынешний год выдать 2100? и дай ответ – если нет, то получишь их с Смирдина в разные сроки. Что, душа моя Калибан?<sup>147</sup> как это тебе нравится? Пиши мне о своих делах и планах.<...>

**А.Н. Вульф.**  
16 октября 1829 г.

Проезжая из Арзрума в Петербург, я своротил вправо и прибыл в Старицкий уезд для сбора некоторых недоимок. Как жаль, любезный Ловлас Николаевич, что мы здесь не встретились! то-то побесили б мы баронов и простых дворян! по крайней мере, честь имею представить Вам подробный отчет о делах наших и чужих.

1) В *Малинниках* застал я одну Анну Николаевну с флюсом и с Муром. Она приняла меня с обыкновенной своей любезностью, и объявила мне следующее: <...>

IV) *Разные известия*. Поповна (ваша Кларисса) в Твери. Писарева кто-то прибил и ему велено подать в отставку. Князь Максютов влюблен более чем когда-нибудь.<sup>148</sup> <...>

**П.А. Вяземскому.**  
10–13 января 1831 г.

<...> О Польше не слышать. В Англии, говорят, бунт. Чернь сожгла дом Веллингтона.<sup>149</sup> В Париже тихо. В Москве также.

**Н.И. Кривцову.**  
10 февраля 1831 г.

Посылаю тебе, милый друг,<sup>150</sup> любимое мое сочинение. Ты некогда баловал первые мои опыты – будь благосклонен и к произведениям более зрелым. Что ты делаешь в своем уединении? Нынешней осенью был я недалеко от тебя. Мне брюхом хотелось с тобою увидаться и поболтать о старине – карантинны мне помешали. Таким образом, Бог ведает, когда и где судьба сведет нас опять. Мы не так-то легки на подъем. Ты без ноги, а я женат. Женат – или почти. Всё, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, всё уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Il n'est de bonheur que dans les voies communes.<sup>151</sup> Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся – я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью.

У меня сегодня spleen<sup>152</sup> – прерываю письмо мое, чтоб тебе не передать моей тоски; тебе и своей довольно. Пиши мне на Арбат в дом Хитровой. На днях получил я чрез Вяземского твое письмо, писанное в 1824. Благодарю, но не отвечаю.

**П.А. Плетневу.**  
26 марта 1831 г.

Книги <...> я получил и благодарен. Прикажи <...> переслать мне еще *Crabbe*, *Wordsworth*, *Southey* и *Schakespeare* в дом Хитровой на Арбате. <...>

**П.А. Вяземскому.**

11 июня 1831 г.

<...> Жуковский всё еще пишет. Он перевел несколько баллад Соувея, Шиллера и Гуланда. Между прочим Водолаза, Перчатку, Поликратово кольцо etc. Также перевел неконченную балладу Вальтер-Скотта Пильгрим, и приделал свой конец: прелесть.<sup>153</sup> <...>

Прощай, кланяюсь княгине и Катерине Андреевне, если она уже доехала до Остафьева. Если Вы все вместе, то мудрено тебя сюда выманить, однакож надобно. Что Софья Николаевна? царствует на седле? A horse, a horse! My kingdom for a horse!<sup>154</sup> Прощай же до свидания.

**Е.Ф. Розену.**

Октябрь – первая половина ноября 1831 г.

Вот Вам, любезный барон, Пир во время чумы из Вильсоновой трагедии à effet. Предприняв издание 3-го тома моих мелких стихотворений, не посылаю вам некоторых из них, ибо вероятно они явятся прежде вашей Альционы.<sup>155</sup> <...>

**В.Ф. Одоевскому.**

28 марта 1833 г.

Я надеялся быть сегодня у Вашего сиятельства и услышать трагедию г. Якимова<sup>156</sup> – но невозможно. Мне назначили деловое свидание к 8 часам, и я жертвую Вами и Шекспиром подъяческим разговорам. Однако до свидания.

Искренне Вас уважающий

А.Пушкин.

**Н.Н. Пушкиной.**

20-е числа (не позднее 25) сентября 1834 г.

Вот уж скоро две недели как я в деревне, а от тебя еще письма не получил. Скучно, мой ангел. И стихи в голову нейдут; и роман не переписываю. Читаю Вальтер-Скотта и Библию, а всё об вас думаю. Здоров ли Сашка? прогнала ли ты кормилицу? отделалась ли от проклятой немки? Какова доехала? Много вещей, о которых беспокоюсь. Видно, нынешнюю осень мне долго в Болдине не прожить. Дела мои я кой-как уладил. Погожу еще немножко, не распишусь ли; коли нет – так с Богом и в путь.<...>

**А.А. Бобринскому.**

6 января 1835 г.

Nous avons reçu une invitation de la part de Madame la Comtesse Bobrinsky: M-r et M-me Pouchkine *et sa soeur* etc. De là grande rumeur parmi mes femelles (comme dit l'Antiquaire de W. Scott)<sup>157</sup> *la quelle?*<...>

[Мы получили следующее приглашение от имени графини Бобринской: Г-н и г-жа Пушкины и ее сестра и т.д. Отсюда страшное волнение среди моего бабья (как выражается Антикварий В. Скотта): которая?<...>

**И.И. Дмитриеву.**

26 апреля 1835 г.

Милостивый государь Иван Иванович, приношу искреннюю мою благодарность вашему высокопревосходительству за ласковое слово и за утешительное ободрение моему историческому отрывку.<sup>158</sup> Его побранивают, и поделом: я писал его для себя, не думая, чтоб мог напечатать, и старался только об одном ясном изложении происшествий, довольно запутанных. Читатели любят анекдоты, черты местности и пр.; а я всё это отбросил в примечания. Что касается до тех мыслителей, которые негодуют на меня за то, что Пугачев представлен у меня Емелькою Пугачевым, а не Байроновым Ларою, то охотно отсылаю их к г. Полевому<sup>159</sup>, который, вероятно, за сходную цену, возьмется идеализировать это лицо по самому последнему фасону. <...>

**А.Х. Бенкендорфу.**

Апрель – май 1835 г.

(Черновое)

J'ose soumettre à la décision de Votre Excellence.

En 1832 Sa Majesté a daigné m'accorder la permission d'être l'éditeur d'un journal politique et littéraire.

Ce métier n'est pas le mien et me répugne sous bien des rapports, mais les circonstances m'obligent d'avoir recours à un moyen dont jusqu'à présent j'ai cru pouvoir me passer. Je demeure à Pétersbourg où grâce à Sa Majesté je puis me livrer à des occupations plus importantes et plus à mon goût, mais la vie que j'y mène entraînant à des dépenses, et les affaires de famille étant très dérangées, je me vois dans la nécessité soit de quitter des travaux historiques qui me sont devenus chers, soit d'avoir recours aux bontés de l'empereur auxquelles je n'ai d'autres droits que les bienfaits dont il m'a déjà accablé.

Un journal m'offre le moyen de demeurer à Péterbourg et de faire face à des engagements sacrés. Je voudrais donc être l'éditeur d'une gazette en tout pareille à la Северная Пчела, et quant aux articles purement littéraires (comme critiques de longue haleine, contes, nouvelles, poèmes etc.), qui ne peuvent trouver place dans un feuilleton, je voudrais les publier à part (un volume tous les 3 mois dans le genre des Review Anglaises).<sup>160</sup> <...>

[Осмеливаюсь представить на решение Вашего сиятельства.

В 1832 г. его величество соизволил разрешить мне быть издателем политической и литературной газеты.

Ремесло это не мое и неприятно мне во многих отношениях, но обстоятельства заставляют меня прибегнуть к средству, без которого я до сего времени надеялся обойтись. Я проживаю в Петербурге, где благодаря его величеству могу предаваться занятиям более важным и более отвечающим моему вкусу, но жизнь, которую я веду, вызывающая расходы, и дела семьи, крайне расстроенные, ставят меня в необходимость либо оставить исторические труды, которые стали мне дороги, либо прибегнуть к щедротам государя, на которые я не имею никаких других прав, кроме тех благодеяний, коими он меня уже осыпал.

Газета мне дает возможность жить в Петербурге и выполнять священные обязательства. Итак, я хотел бы быть издателем газеты, во всем сходной с «Северной Пчелой»; что же касается статей чисто литературных (как то пространных критик, повестей, рассказов, поэм и т.п.), которые не могут найти место в

фельетоне, то я хотел бы издавать их особо (по тому каждые 3 месяца, по образцу английских *Rewiews*).<...>]

### В Главное Управление цензуры.

28 августа 1835 г.

Чсть имею обратиться в Главный Комитет Цензуры с покорнейшею просьбою о разрешении встретившихся затруднений.

В 1826 году государь император изволил объявить мне, что ему угодно быть самому моим цензором. Вследствие высочайшей воли всё, что с тех пор было мною напечатано, доставляемо было мне прямо от его величества из 3-го отделения собственной его канцелярии при подписи одного из чиновников: с дозволения правительства.<...>

Ныне, по случаю *второго, исправленного* издания Анджело, перевода из Шекспира (неисправно и со своевольными поправками напечатанного книгопродавцем Смирдиным) г. попечитель Санкт-Петербургского учебного округа изустно объявил мне, что не может более позволить мне печатать моих сочинений, как доселе они печатались, т.е. с надписью чиновника собственной его величества канцелярии. Между тем никакого нового распоряжения не последовало, и таким образом я лишен права печатать свои сочинения, дозволенные самим государем императором.

В прошлом мае месяце государь изволил возвратить мне сочинение мое, дозволив оное напечатать, за исключением собственноручно замеченных мест. Не могу более обратиться для подписи в собственную канцелярию его величества, и принужден утруждать Комитет всеуниженным вопросом: какую новую форму сиизволит он предписать мне для представления рукописей моих в типографию?

Титулярный советник

Александр Пушкин.

**Н.Н. Пушкиной.**

21 сентября 1835 г.

Жена моя, вот уже и 21-ое, а я от тебя еще ни строчки не получил. Это меня беспокоит поневоле, хоть я знаю, что ты мой адрес, вероятно, узнала, не прежде как 17-го, в Павловске. Не так ли? к тому же и почта из Петербурга идет только раз в неделю. Однако я всё беспокоюсь и ничего не пишу, а время идет. Ты не можешь вообразить, как живо работает воображение, когда сидим одни между четырех стен, или ходим по лесам, когда никто не мешает нам думать, думать до того, что голова закружится. А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет? Отец не оставит мне имения; он его уже вполтину промотал; ваще имение на волоске от погибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит Бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000. Всё держится на мне, да на тетке. Но ни я, ни тетка не вечны. <...> Теперь выслушай мой журнал: был я у Вревских третьего дня и там ночевал. Ждали Прасковью Александровну, но она не бывала. Вревская очень добрая и милая бабенка, но толста как Мефодий, наш Псковский архиерей. И незаметно, что она уж не брюхата; всё та же, как когда ты ее видела. Я взял у них Вальтер-Скотта и перечитываю его. Жалею, что не взял с собою английского. Кстати: пришли мне, если можно, *Essays de M. Montagne* – 4 синих книги, на длинных моих полках. Отыщи.<...>

**Н.Н. Пушкиной.**  
25 сентября 1835 г.

Пишу тебе из Тригорского. Что это, женка? вот уж 25-ое, а я всё от тебя не имею ни строчки. Это меня сердит и беспокоит. Куда адресуешь ты свои письма? Пиши *Во Псков*, ее высокоородию, Прасковье Александровне Осиповой для доставления А.С.П., известному сочинителю – вот и всё. Так вернее дойдут до меня твои письма, без которых я совершенно одурею. Здорова ли ты, душа моя? и что мои ребятишки? Что дом наш, и как ты им управляешь? Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки; а всё потому что не спокоен. В Михайловском нашел я всё по старому, кроме того, что нет уж в нем няни моей, и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая, сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу. Но делать нечего; всё крутом меня говорит, что я старею, иногда даже чистым, русским языком. Например, вчера мне встретилась знакомая баба, которой не мог я не сказать, что она переменилась. А она мне: да и ты, мой кормилец, состарелся да и подурнел. Хотя могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был. Всё это не беда; одна беда: не замечай ты, мой друг, того что я слишком замечаю. Что ты делаешь, моя красавица, в моем отсутствии? расскажи, что тебя занимает, куда ты едешь, какие есть новые сплетни, etc. Карамзина и Мещерские, слышал я, приехали. Не забудь сказать им сердечный поклон. В Тригорском стало просторнее, Евпраксия Николаевна и Александра Ивановна замужем, но Прасковья Александровна всё та же и я очень люблю ее. Веду себя скромно и порядочно. Гуляю пешком и верхом, читаю романы Вальтер Скотта, от которых в восхищении, да охаю о тебе. Прощай, целую тебя крепко, благословляю тебя и ребят. Что Коко и Азя? замужем или еще нет? Скажи, чтоб без моего благословения не шли. Прощай, мой ангел.

**А.Х. Бенкендорфу.**  
31 декабря 1835 г.

Милостивый государь

граф Александр Христофорович,

<...> Осмеливаюсь беспокоить Ваше сиятельство покорнейшею просьбою. Я желал бы в следующем 1836 году издать четыре тома статей чисто литературных (как то повестей, стихотворений etc.), исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности; наподобие английских трехмесячных *Reviews*.<sup>161</sup> Отказавшись от участия во всех наших журналах, я лишился и своих доходов. Издание таковой *Review* доставило бы мне вновь независимость, а вместе и способ продолжать труды, мною начатые. Это было бы для меня новым благодеянием государя.

Препоручая себя всегдашней вашей благосклонности, честь имею быть с глубочайшим почтением и совершенной преданностию,

милостивый государь,

Вашего сиятельства

покорнейший слуга

Александр Пушкин.



**Джорджу Борро.**

Конец октября 1835 г. – март 1836 г.

Александр Пушкин с глубочайшей благодарностию получил книгу господина Борро и сердечно жалеет, что не имел чести лично с ним познакомиться<sup>162</sup>.

**А.О. Ишимовой.**

25 января 1837 г.  
(Черновое)

[Крайне жалею что не имел счастья Вас застать дома. Я надеялся с Вами поговорить].

П.<стр> А.<лександрович> обнадежил меня что Вам угодно будет [сам<ой>] принять участие в издании Совр.<еменника> – Я заранее соглашаюсь на все условия, [и] [и теперь] и спешу [теперь] тотчас же воспользоваться вашим благорасположением.

Я бы хотел познакомить моих читателей с произведениями Вагу Согн<wall> – [Не] [Осмеливаюсь просить] Не согласитесь ли вы перевести несколько из его Драмм<атических> очерков.<sup>163</sup>

**А.О. Ишимовой.**

25 января 1837 г.

Милостивая государыня Александра Осиповна,

На днях имел я честь быть у Вас и крайне жалею, что не застал Вас дома. Я надеялся поговорить с Вами о деле; Петр Александрович<sup>164</sup> обнадежил меня, что Вам угодно будет принять участие в издании Современника. Заранее соглашаюсь на все Ваши условия и спешу воспользоваться Вашим благорасположением: мне хотелось бы познакомить русскую публику с произведениями Вагу Согнwall. Не согласитесь ли Вы перевести несколько из его Драматических очерков? В таком случае буду иметь честь препроводить к Вам его книгу.

С глубочайшим почтением и совершенной преданностию честь имею быть,  
милостивая государыня,

Вашим покорнейшим слугою.

А. Пушкин.

**А.О. Ишимовой.**

27 января 1837 г.

Милостивая государыня

Александра Осиповна,

Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглашение. Покамест честь имею препроводить к Вам Вагу Согнwall. Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом<sup>165</sup>, переведите их как умете – уверяю Вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл Вашу Историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!

С глубочайшим почтением и совершенной преданностию честь имею быть,  
милостивая государыня,

Вашим покорнейшим слугою.

А. Пушкин.

## Комментарии

- 1 Вольное переложение эпизода из поэмы Оссиана «Кольна-Дона», известной Пушкину в переводе Е.И. Кострова. Увлечением поэзией Оссиана Пушкин, равно как другие лиценсты, был обязан Н.Ф. Кошанскому, лицейскому профессору русской и латинской словесности. По свидетельству В.П. Гаевского, Оссиан в переводе Кострова «был настольною книгою в лицее и составлял некоторое время любимое чтение Пушкина». «Оссианические мотивы» прочитываются в некоторых известных лицейских стихотворениях Пушкина («Воспоминания в Царском Селе», «Наполеон на Эльбе. 1815»). Впрочем, трагический мрачный пафос поэм Оссиана был явно чужд юному Пушкину – именно поэтому в своей следующей «оссианической» балладе «Осгар» он вводит в типично оссиановскую обстановку любовную коллизию, подчерпнутую им из Парни, в лицейские годы являвшегося весьма существенным источником для его вдохновения.
- 2 Оригинальное стихотворение на мотивы поэм Оссиана. Строфы 6 и 7 представляют собой вольное переложение отрывка из поэмы Парни «Иснель и Аслега». Примечательно, что два эти «оссианические» стихотворения Пушкина разделяет «Эвлега», не имеющая к поэмам Оссиана никакого отношения, но целиком восходящая к уже упомянутой поэме Парни. Примечательна и еще одна деталь: имя «Мальвина», явно чужеродное в ткани «оссианической» баллады и скорее всего возникшее в стихах Пушкина как отголосок популярного романа французской писательницы Софи Коттень, где оно стояло в заглавии, либо – переведенного В.А. Жуковским стихотворного романса Коттень, вошедшего в ее роман и опубликованного в 1808 г. под тем же заглавием. И еще любопытное совпадение: в числе романсов, исполненных в доме Клер Клермонт А.И. Геништой (см. коммент. 7) значится загадочное «Фингал и Мальвина» – его собственного сочинения».
- 3 Джеймс Томсон (1700–1748) и Томас Грей (1716–1771) – поэты-сентименталисты. В России Грей приобрел известность как автор знаменитой «Элегии, написанной на сельском кладбище», которую перевел и опубликовал впервые В.А. Жуковский в 1802 году. Менее известен тот факт, что ровно год спустя в переводе ныне забытого П.И. Голенищева-Кутузова (1767–1829) вышел сборник стихотворений Грея, включивший практически все, им написанное. Увлечение Томсоном одним из первых пережил в России Н.М. Карамзин, однако, в широкий обиход ввел его все тот же Жуковский, чей перевод фрагмента «Гимн» из поэмы Томсона «Времена года» вышел в «Вестнике Европы» в 1808 г.
- 4 Артур Уэлсли, герцог Веллингтон (1769–1852). Главнокомандующий англо-голландской армией во время битвы при Ватерлоо. Двадцатитрехлетний принц Оранский принимал участие в битве и был ранен. Стихотворение написано по заказу – для исполнения во время придворного праздника в Павловске, устроенного по случаю отъезда принца Оранского. Этим объясняется панегирический тон, столь несвойственный Пушкину. Праздник состоялся 6 июня и тем самым совпал с днем рождения Пушкина.
- 5 Стихотворение обращено к Н.И. Кривцову (1791–1843), с которым Пушкин познакомился в Царском Селе в доме Карамзиных. Написано при его отъезде на дипломатическую службу в Лондон.
- 6 Пушкин шутивно называет Жуковского именами всех тех поэтов, которых тот переводил. Впрочем, в шутке Пушкина скрыт вполне серьезный смысл: как писал сам Жуковский, «у меня почти все или чужое или по поводу чужого и все, однако, мое». О Грее и Томсоне см. коммент. 3.
- 7 Эту элегию современники Пушкина всегда связывали с именем Байрона. Готовя стихотворение к публикации в сборнике 1825 г., Пушкин предполагал дать ему эпиграф

«Good night my native land. Вурон». Примечателен и еще один факт: в конце декабря 1825 г. пушкинская элегия была положена на музыку. Автором романса стал И.И. Геништа (1795–1853) – известный московский музыкант, происходивший из чешской обрусевшей семьи. Геништа был близким знакомым Клер Клермонт (1798–1879), одной из легендарных возлюбленных Байрона. История ее жизни послужила впоследствии основой для повести Генри Джеймса «Письма Асперна», написанной в то же время под влиянием пушкинской «Пиковой дамы». В 1823 г. Клер Клермонт, после странствий по миру, приехала в Россию, где стала гувернанткой в семье графини Е.А. Зотовой, воспитательницей двух ее дочерей. Клер прожила в Москве несколько лет, в разных семьях (гувернантки-англичанки в ту пору вошли в моду, что вполне отразилось и в литературе, и здесь самый известный пример – пушкинская «Барышня-крестьянка»). Клер Клермонт не была знакома с Пушкиным, однако, живя в Москве, она встречалась со многими его друзьями: И.И. Пушиным, С.А. Соболевским, Ф.Ф. Матюшкиным и другими. В ее московских дневниках имя Пушкина встречается достаточно часто, в частности, в связи с «русской элегией из Пушкина», которую исполнил в ее доме Геништа и чье «байроническое» звучание не могло оставить ее равнодушной.

- 8 Перевод начальных стихов поэмы «Гяур». Этой попытке предшествовал опыт перевода этих стихов на французский:

Traduction littérale

Pas un souffle d'air pour briser le flot qui roule sur la grève d'Athènes; près de cette tombe élevée sur le rocher (стремнина) – premier objet qui salue sur cette terre qu'il sauva en vain le vaisseau qui s'en revient. Quand revivra un tel héros?

.....  
Doux climat! où chaque saison sourit doucement sur ces îles bénies qui vues des hauteurs de Colonna enchantent le coeur, qui réjouit l'oeuil et le plonge dans une contemplation rêveuse.

Là la surface riante de l'Océan reflète...

- 9 Стихотворение обращено к Калипсо Полихрони (1803–?), имя которой фигурирует в «донжуанском списке» Пушкина, хотя роман их и был непродолжителен. Однако, история, которая так нравилась Пушкину, о том, что Калипсо была некогда любовницей Байрона, (см. его письмо к П.А. Вяземскому от 5 апреля 1823 г., где он обещает познакомиться его «с гречанкою, которая целовалась с Байроном»), оказалась красивой легендой: в 1810 г., когда Калипсо якобы встретила в Греции с Байроном, ей было всего шесть или семь лет.

В рукописи стихотворения к стиху «Скажи – когда певец Леилы...» примечание: «См. поэму лорда Байрона “Гяур” (а не “Джаур”, как пишут некоторые)».

- 10 Эта ироническая строка перекликается с исполненными пафоса стихами на тему дружества британских и русских муз, написанными второстепенным поэтом и переводчиком с английского А.В. Колмаковым (?–1804):

Я Музой вдохновен глашу сии слова:  
Что видит Албион, увидит то Нева.

- 11 Адресат этого стихотворения – вновь Калипсо Полихрони. В его последней строфе («На чуждые черты взирая...») скорее всего имеется в виду Байрон.
- 12 Слово «денди» появляется в английском языке в 1815 г., и еще в начале 1820-х воспринимается как весьма необычный и вызывающий неологизм. Несомненно еще более вызывающе звучало оно в контексте русского языка, а человек, воплощавший «дендизм», отличался дерзостью обращения и пренебрежением светскими условностями. Это слово часто встречается в романах весьма Пушкиным любимого и много читанного Булвер-Литтона (см. также коммент. 85).
- 13 Адам Смит (1723–1790) – экономист, чьи теории, весьма популярные в декабристской среде, оказали, в частности, сильное влияние на Н.И. Тургенева. Вполне вероятно, что многочисленные разговоры Пушкина с Тургеневым отразились в характеристике воззрений Онегина.

- 14 В период работы над первой главой «Евгения Онегина» (1823, Кишинев) Пушкин читал поэму Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» во французском прозаическом переводе, вышедшем в Париже в 1820 г. В эти годы Пушкин скорее склонен воспринимать чисто поверхностный «байронизм» – разочарованность, усталость, томность, и т.д., нежели Байрона как великого поэта, о чем французские прозаические пересказы никак свидетельствовать не могли.
- 15 Имеется в виду Байрон, в IV песне «Чайльд-Гарольда» воспевший красоты Венеции.
- 16 Сэмюэль Ричардсон (1689–1761) – автор популярных в России в XVIII – начале XIX вв. «дамских» романов «Памела, или Вознагражденная добродетель», «Кларисса» и «История сэра Грандисона». В ходу были русские переводы, выполненные с французского, однако, Татьяна, скорее всего, знала Ричардсона по французскому переводу. Сам Пушкин прочел «Клариссу» в 1824 г. по-французски в переводе аббата Прево, имевшемся в библиотеке Тригорского. Позже, в своей статье «Путешествие из Москвы в Петербург», он напишет «Многие читатели согласятся со мною, что Клариса очень утомительна и скучна, но со всем тем роман Ричардсонов имеет необыкновенное достоинство». Иронический, быстрый ум Пушкина не мог иначе отнестись к такого рода книгам, но для его героев (а тем паче героинь) они значили очень много. Имена героев Ричардсона: Грандисона – воплощения безукоризненной добродетели – и Ловласа – коварного соблазнителя – стали нарицательными. Примечательно, что в пушкинском кругу, где любил разного рода прозвища, Ловласом звали Алексея Вульфа, о чем, в частности, свидетельствуют многие пушкинские письма.
- 17 «...задумчивый *Вампир*», по поводу которого Пушкин делает примечание: «повесть, неправильно приписанная лорду Байрону», – в действительности роман, написанный в 1819 г. доктором Полидори, использовавшим в своем сочинении устные импровизации Байрона. В том же 1819 г. роман был переведен на французский язык. Этим изданием, очень распространенным в России, видимо, пользовался и сам Пушкин. «*Мельмот, бродяга мрачный*» – герой знаменитого романа Чарлза Роберта Метьюрина (1782–1824) «Мельмот-Скиталец». Его Пушкин также читал во французском переводе. О степени воздействия этого романа на воображение Пушкина можно судить по тому, сколь значимы многочисленные упоминания его в разного рода пушкинских текстах, в первую очередь в «Евгении Онегине». «*Иль вечный жид, или Корсар, / Или таинственный Сбогар*». «*Вечный жид*» – вероятно имеется в виду роман одного из «готических» писателей XVIII в. Мэтью Грегори Льюиса (1775–1818) «Амброзио, или Монах», в России считавшийся принадлежащим перу современника Льюиса Анны Радклиф (1764–1823), чьи «готические романы» были к этому времени хорошо известны в России. Их чтение считалось таким же непреходящим атрибутом «романтической натурь», как знакомство с поэзией Байрона. Примечательны в этом смысле воспоминания одного из английских путешественников в России Ж.-К. Поля, опубликованные в 1844 г. М.Н. Макаровым: рассказывая о случайной встрече в Москве со старым капитаном – своим соотечественником, он пишет, что, в ответ на его расспросы о родине, тот отвечал: «... теперь наше новое поколение растет уже под ужасным креповым вуалем мадам Радклиф...» *Корсар* – герой одноименной поэмы Байрона. *Сбогар* – герой романа французского писателя Шарля Нодье «Жан Сбогар». Об ироничности отношения Пушкина к этим «романтическим затеям» можно судить хотя бы по тому, что в повести «Барышня-крестьянка» Сбогаром он называет легавую собаку Алексея.
- 18 «*Певец Гюльнары*» – Байрон (Гюльнара – героиня его поэмы «Корсар»). Геллеспонт (Дарданеллы) Байрон переплыл 3 июля 1816 г.
- 19 В черновиках Пушкина были еще более резкие, совершенно убийственные характеристики Онегина: «Москаль в Гарольдовом плаще», «Шут в Чильд-Гарольдовом плаще». Отношение к Онегину, как к явлению подражательному, было в крайне резкой форме высказано И.В. Киреевским в статье «Нечто о характере поэзии Пушкина». В то же время, отвечая на критические отзывы своих давних недругов – Ф.В. Булгарина, Н.А. Полевого, касавшихся VII главы «Онегина», Пушкин, готовя к изданию одним выпуском две главы: VIII («Путешествие Онегина») и IX (окончательную VIII), написал к ним предисловие, где, в частности, говорится следующее: «В одном из наших

- журналов сказано было, что VII глава не могла иметь никакого успеха, ибо век и Россия идут впереди, а стихотворец остается на прежнем месте. Решение несправедливое (т.е. в его заключении). Если век может идти себе вперед, науки, философии и гражданственность могут усовершенствоваться и изменяться, – то поэзия остается на одном месте, не стареет и не изменяется. Цель ее одна, средства те же». Однако, признавая за своими оппонентами право на критику, Пушкин категорически отмечает попытки утверждать, что в своем романе он насмеяется над Байроном: «Мысль, что шутили пародию можно принять за неуважение к великой и священной памяти, – также удерживала меня. Но Чайльд Гарольд стоит на такой высоте, что каким бы тоном о нем ни говорили, мысль о возможности оскорбить его не могла у меня родиться».
- 20 Эпиграф – начало стихотворения «Fare thee well» из цикла «Poems of separation» («Стихи о разводе», 1816): «Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай». Появляется эпиграф только в белой рукописи романа, когда Пушкин окончательно решил, что восьмая глава будет последней.
- 21 Как указывает Ю.М. Лотман, «выражение *vulgar*, как и указание на “высокий лондонский круг”, вероятно восходит к “Палему” Булвер-Литтона». (См. коммент. 85).
- 22 М.П. Алексеев высказывает предположение, что «путешественником залетным» Пушкин назвал Томаса Рейкса (1777–1848) – одного из многочисленных английских путешественников, побывавших в России в начале XIX в. В 1833 г. Рейкс выпустил книгу, в которой рассказывает, в частности, о своих встречах с Пушкиным. Он называет его, с одной стороны, «русским Байроном, ... знаменитым и вместе с тем единственным поэтом в России», а с другой – полагает страсть к карточной игре единственной примечательной чертой его личности. Суждения Рейкса о Пушкине вообще отличаются крайней поверхностностью, в сочетании с поразительным высокомерием.
- 23 Эти строки из Саади возникают у Пушкина впервые в эпиграфе к «Бахчисарайскому фонтану» («многие, так же, как и я, посещали сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют далече. Сади»). Поиски источника, из которых Пушкин почерпнул эту цитату, были довольно долгими, пока они не привели к поэме Томаса Мура (1779–1852) «Лалла Рук», известной Пушкину по французскому изданию 1820 г. Несмотря на весьма скептическое отношение Пушкина к «восточной экзотике» поэм Мура, многократно высказанное им в письмах 1820-х годов, фраза из Саади («Многие, как я, созерцали этот фонтан, но их не стало и глаза их закрыты навеки») явно произвела на него сильное впечатление. Она возникает у Пушкина снова в черновых набросках, не вошедших в окончательный текст его знаменитого стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла...». Примечательно: в заметке «Возражение критикам “Полтавы” “он говорит о том, что в рукописи “Бахчисарайский фонтан” «назван был *Харемом*, но меланхолический эпиграф (который конечно лучше всей поэмы) соблазнил меня». Говоря о «поэме», Пушкин имеет в виду не собственное произведение, но именно «Лаллу-Рук» Мура. Примечательно и другое: как указывает Ю.М. Лотман, «цитата эта в ЕО [“Евгений Онегин”] имела более сложный смысл». Речь идет о том, что слова Саади, пересказанные Муром и с легкой руки Пушкина вошедшие в круг русской речи, получили в тот момент и политическую окраску. Принадлежавшая перу П.А. Вяземского вставка в статье Н.А. Полевого «Взгляд на русскую литературу 1825 и 1826 гг. (Письмо в Нью-Йорк к С.Д.П.)»: «В эти два года много пролетело и исчезло тех резвых мечтаний, которые веселили нас в былое время... Смотрю на круг друзей наших, прежде оставленный, веселый и часто (думая о тебе) с грустью повторяю слова Сади (или Пушкина, который нам передал слова Сади): “Одних уж нет, другие странствуют далеко!”» – ясно указывала на восстание и казнь декабристов. Прекрасно осведомленный о всех тех гонениях, которые вслед за выходом статьи обрушились на Вяземского, Пушкин своей «невинной» концовкой бросает тем самым дерзкий вызов могущественным гонителям, отчетливо обозначая собственную им неподвластность.
- 24 «Двойная отсылка» Пушкина: с одной стороны, к хрестоматийному восклицанию Гамлета «Бедный Йорик!», с другой – менее очевидная: к пастору Йорику – герою романа Лоренса Стерна (1713–1768) «Сентиментальное путешествие», произведения весьма существенного в «карамзинском кругу» (равно как и другой роман Стерна «Жизнь и

- мнения Тристрама Шенди»). См. пушкинские отклики в письмах.
- 25 В данном случае Лаллой-Рук Пушкин называет великую княгиню Александру Федоровну (будущую императрицу) – по маскарадному костюму, который был надет на ней во время костюмированного бала в Берлине 27 января 1821 г. После стихотворения В.А. Жуковского «Лалла-Рук» (1821) имя это стало поэтическим прозвищем Александры Федоровны.
- 26 Эпиграмма на графа М.С. Воронцова (1782–1856), в пору одесской ссылки Пушкина, занимавшего пост новороссийского генерал-губернатора. Сын русского посла в Англии в 1785–1806 гг., англomана и фрондера С.Р. Воронцова, он получил блестящее образование и воспитание. Однако будучи безупречным чиновником и военным, Воронцов – к несчастью для Пушкина – был начисто лишен ощущения значимости поэзии, в самом широком смысле слова. По словам Ю.М. Лотмана, он «был высокомерен, горд, держал себя не как русский генерал, а как английский лорд, но чувства собственного достоинства у него не было». С легкой руки Пушкина, называвшего его на английский манер – «милордом Уоронцовым», словечко «милорд» применительно к Воронцову было вполне в ходу в кругу «одесских вольнодумцев».
- 27 Байрон. Умер 19 апреля 1824 г. Замысел стихотворения подсказали Пушкину последние строфы «Паломничества Чайльд-Гарольда». В письме к Вяземскому, посылая ему список этого стихотворения, Пушкин назвал его «маленькое поминанье за упокой души раба Божия Байрона». Впервые фрагмент из стихотворения был опубликован в «Московском телеграфе» в «прибавлении» к статье Вальтера Скотта «Характер лорда Байрона», написанном Вяземским или Н.А. Полевым. Несмотря на то, что смерть Байрона вызвала к жизни множество стихотворных откликов, автор «прибавления» писал: «Никто из поэтов, принеших дань памяти Байрона, не изобразил его так правдиво и сильно, как наш Пушкин (в стихах: Прощание с морем...), говоря: “Ревни, волнуйся, негодуй...”». В числе многих других стихотворений русских поэтов, переведивших Байрона или посвятивших ему свои стихи, А.И. Тургенев в «Записке», составленной им по просьбе Томаса Мура в феврале 1829 г., приводит и эти в собственном французском прозаическом переводе, а также в стихотворном английском, принадлежавшем В.П. Давыдову: «Пушкин, образовавшийся на Байроне и талант которого пробовал себя почти во всех жанрах поэзии – среди них есть шедевры, – подражал ему в «стихотворениях» “К морю”, в своем “Наполеоне” и в других произведениях, которые будут жить до тех пор, пока будут говорить на нашем языке...».
- 28 Предположительно, гувернер молодого графа М.Д. Бутурлина м-р Слоан, пользовавшийся успехом в одесском светском обществе, но раздражавший Пушкина своей развязностью и самоуверенностью. В черновике написанного по-французски письма Пушкина к А.И. Казначееву от начала июня 1824 г. говорится: «... мне наскучило, что в моем отечестве ко мне относятся с меньшим уважением, чем к первому попавшемуся дураку мальчишке англичанину, который является к нам, чтобы среди нас проявить тупость, плоскость, небрежность и свое бормотанье».
- 29 Речь идет о письме к Вяземскому (апрель – первая половина мая (?) 1824 г.), перлюстрированному московской полицией (см. в разделе «Письма»). Англичанином, у которого Пушкин брал «уроки чистого афеизма», был, предположительно, домашний врач Воронцовых Уильям Хатчинсон (1793–1850), или, как писали в то время, Гутчинсон. Существовала легенда, ничем не подтверждаемая, что этот доктор-атеист был «другом поэта Шелли».
- 30 «Гений чистой красоты» – цитата из стихотворения В.А. Жуковского «Лалла-Рук» (см. коммент. 25). По мнению Ю.М. Лотмана, это обстоятельство (откровенное заимствование некой романтической формулы) «лишний раз подчеркивает литературную условность этого образа», т.е. – в каком-то смысле – придуманность пушкинского чувства и очевидную придуманность образа возлюбленной, нимало не соответствовавшего реальной А.П. Керн.
- 31 Как свидетельствует сам Пушкин в написанной им позже (1830 г.) «Заметке о “Графе Нулине”», идея поэмы была подсказана ему Шекспиром («Перечитывая “Лукрецию”, довольно слабую поэму Шекспира...»). Недаром в первой черновой редакции названи-

ем пушкинской поэмы было «Новый Тарквиний». Отказавшись от него, Пушкин значительно расширил «пародийное поле» своей поэмы, сделав его практически всеобъемлющим. Неслучайно в этой связи наблюдение Б.М. Эйхенбаума о связи «Графа Нулина» с пьесой Кюхельбекера «Шекспировы духи» (также 1825 год), вызвавшей у Пушкина раздражение и неприятие именно своей риторической выпендренностью (см. его письма). Легкое современное дыхание «Графа Нулина», его естественность – несомненно близки духу шекспировских творений.

- 32 *Соуе* – так Пушкин пишет имя поэта Роберта Саути (1774–1843). Это первое упоминание Пушкиным имени Саути в печати (ему предшествовали замечания, высказанные им в письмах). В этот период знакомство Пушкина с поэзией Саути складывалось по французским прозаическим переводам, и лишь набросок «О поэтическом слоге», относимый г. 1828 г., свидетельствует о том, что знакомство с поэзией Саути в оригинале произошло. Чуть позже появляются и первые пушкинские переводы из Саути («Еще одной высокой, важной песни...»; фрагмент из поэмы «Медок»). В 1830 г. Пушкин, работая над очень для него важной статьей «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений», предпосылает ей эпитафию из Саути: «Сколь ни удален я моими привычками и правилами от полемики всякого рода, еще не отрекся я совершенно от права самозащиты».

Эти слова взяты из «Письма первого к издателю “Курьера” по поводу лорда Байрона», написанного Саути 5 янв. 1822 г. Напечатанное в газете «Курьер» тогда же, в 1822 г., оно вошло в собрание статей Саути, вышедшее ровно десятью годами позже. Книга эта указана в описании библиотеки Пушкина, однако, эпитафия, с самого начала возникший в статье, датированной 1830 г., был скорее всего взят Пушкиным непосредственно из публикации в «Курьере»: освоив к этому моменту английский язык, Пушкин с наслаждением читал английские периодические издания, в том числе и за предыдущие годы.

- 33 У Байрона (*«певец Корсара»*) есть стихотворение «Надпись на кубке из черепа».
- 34 Имеется в виду стихотворение Баратынского «Череп». Критика того времени, указывая на его переключку с байроновским, отмечала, что мотив, поданный Байроном в тонах шутивно-пародийных, у Баратынского перерастает в глубокое философское размышление. Именно это дало Пушкину повод сравнить его с Гамлетом, над черепом королевского шута Йорика размышляющего о бренности Бытия.
- 35 Пушкин цитирует «Сентиментальное путешествие» Стерна.
- 36 Битва при Измаиле описана у Байрона в VII и VIII песнях «Дон Жуана»; путешествие главного героя поэмы в Петербург – в песне IX.
- 37 «*Сон Сарданапала*» – в монологе Сарданапала из одноименной трагедии Байрона. Карикатура, о которой говорит Пушкин, была издана не в Варшаве, а в Лондоне в 1795 г. и изображала Суворова, подносящего Екатерине II отрубленные головы женщин и детей после взятия Варшавы.
- 38 Весьма вероятно, что публикация этого фрагмента в «Северных цветах на 1828 год», с несколько преувеличенным суждением относительно любви Байрона к России, преследовала тайную цель: хоть как-то «реабилитировать» Байрона в глазах русских официальных кругов, что было, разумеется, делом безнадежным: бунтарская репутация английского поэта слишком уже была укоренена, и не без на то оснований. Примечательно, что Байрон знал Россию действительно неплохо; его саркастический выпад против Александра I в песне V «Дон Жуана» явно отозвался в знаменитой «аттестации» Пушкина: «Плешивый щеголь, враг труда, / Нечаянно пригретый славой...».
- 39 Стихотворение посвящено художнику Джорджу Доу (1781–1829). В 1819 г., как автор многочисленных портретов английских военачальников, прославившихся в войне с Наполеоном, по приглашению Александра I приехал в Россию. Здесь Доу написал свыше 400 портретов русских генералов – героев Отечественной войны 1812 года. В стихотворении «Полководец» говорится о портрете Барклая де Толли; в «Путешествии в Арзрум» – о портрете генерала Ермолова. Единственная личная встреча Доу с Пушкиным произошла 9 мая 1828 г. на пироскафе, шедшем из Петербурга в Кронш-

тадт. Очевидно там-то и был сделан набросок, о котором идет речь в пушкинском посвящении. Дальнейшая судьба этого наброска неизвестна. «*Мефистофель*» – дружеское прозвище И.С. Мальцева, незадолго до этого выступившего в «Московском вестнике» с резкой критикой Доу.

- 40 Переложение начала одной из шотландских баллад В. Скотта, сделанное с французского перевода 1826 г. В издании пушкинских «Стихотворений» 1829 г. в оглавлении называлось «Шотландская песня».
- 41 В рукописи стихотворения эпитафия:

It is a poison-tree that pierced to the inmost  
Weeps only tears of poison.

*Coleridge*

[Это – ядовитое дерево, которое, пронзенное до сердцевины,  
плачет только ядовитыми слезами. Колридж].

Взят Пушкиным из трагедии С.Т. Колриджа «Раскаяние» (д. I, явл. I). Интерес к Колриджу (1772–1834), блекло обозначенный в ряде писем и заметок середины 1820-х гг., в пору создания «Анчара» становится абсолютно очевидным. Свидетельство чему, в частности, надпись на книге «Specimens of the Table Talk of the late Samuel Taylor Coleridge» (London, 1835): «куплена 17 июня 1835 года, день Демидовского праздника, в годовщину его смерти» (Колридж умер 25 июля 1834 г.). Весьма вероятно, что название этого двухтомника Колриджа подсказало Пушкину общий заголовок для его собственного собрания анекдотов, записанных в разные годы. Примечательно также, что Колридж был среди авторов, которых Пушкин читал в последние дни своей жизни: 2 февраля 1837 г. Наталье Николаевне был подан книгопродавцем Л. Диксоном счет на книги, где на первом месте значатся два тома «Coleridge's Conversations». Очевидно, это были изданный в Лондоне в 1836 г. сборник Колриджа «Letters, conversations and recollections». Книга, сохранившаяся в библиотеке Пушкина, в некоторых местах разрезана, в одном месте закладка. По предположению Н.В. Яковлева, влияние Колриджа, точнее, его произведения в стихах и прозе «Импровизатор», сказалось в пушкинских «Египетских ночах» (замысел; итальянское слово «Improvisatore» в заглавии сочинения Колриджа – при том, что личность Импровизатора у него явно автобиографична).

- 42 Эпитафия взята из поэмы Байрона «Мазепа»:

Мощь и слава войны,  
Как и люди, их суетные поклонники,  
Перешли на сторону торжествующего царя.

- 43 В черновой рукописи «Посвящение» сопровождалось английским эпитафмом: I love this sweet name. [Я люблю это сладостное имя]. К кому обращено «Посвящение» точно не установлено, однако, скорее всего его адресатом была М.Н. Волконская.
- 44 Склонный к поверхностно-примитивным «романтическим затеям», столь чуждым свободному дару Пушкина, (но еще и к английской словесности тоже), В.Н. Олин в том же 1828 г. публикует в «Альманахе северных муз» стихотворение «К 30-летней Эрминии», называя его «Подражением Муру». Иронически отзываясь о стихотворстве Ленского («он пел разлуку и печаль...»), Пушкин вольно или невольно пародировал также и стихи Олина. Написанная по мотивам Байрона трагедия Олина «Корсер» не увидела сцены.
- 45 Размышления Пушкина о жанре трагедии; его восхищение «непринужденностью и естественностью» (в связи с работой над «Борисом Годуновым») см. также в письме к Н.Н. Раевскому (вторая половина июля (после 19) 1825 г.).
- 46 Предположительно, речь идет о балладе Саути «Лорд Уильям», известной Пушкину еще по переводу В.А. Жуковского «Варвик» (опубл. впервые в 1815 г.). Хотя, возможно, теперь он был знаком с нею и в оригинале тоже. В.А. Сайтанов в своей диссертации «Пушкин и английские поэты Озерной школы» указывает на непосредственную связь этой пушкинской заметки (как концептуальную, так местами и текстуальную) со



- знаменитым манифестом поэтов озерной школы – предисловием к совместному сборнику Вордсворта и Колриджа «Лирические баллады» 1798 года.
- 47 Черновая редакция стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла...». См. коммент. 23.
- 48 Перевод начала поэмы Саути «Медок».
- 49 Перевод начала стихотворения Саути «Гимн Пенатам». Ю.М. Лотман сопоставляет его с неоконченным оригинальным отрывком Пушкина этих же лет: «Два чувства дивно близки нам – /В них обретает сердце пищу/Любовь к родному пепелищу, /Любовь к отеческим гробам...» – полагая, что совпадения с Саути (в том числе и текстуальные) – неслучайны: тема Дома, вычитанная Пушкиным у Саути, являлась в этот момент для него, находящегося на пороге нового поворота своей судьбы – женитьбы, то есть, обретения Дома, – жизненно важной.
- 50 Заметка, опубликованная в альманахе «Северные цветы на 1830 год» в качестве комментария к «Сцене из трагедии Шекспира: Ромео и Юлия» в переводе П.А. Плетнева. Публикация заметки сопровождалась примечанием «Извлечено из рукописного сочинения А.С. Пушкина», давшим впоследствии П.В. Анненкову повод полагать, что эта заметка действительно является отрывком из большого сочинения Пушкина о Шекспире, до нас не дошедшего. В действительности, такой особой статьи Пушкина о Шекспире никогда не существовало (хотя на догадку о том, что подобный замысел у Пушкина был, наводит письмо к нему Плетнева от 21 мая 1830 г.: «Хотелось бы мне, чтобы ты вернул в трактат о Шекспире любимые мои две идеи: 1) Спрашивается, зачем перед публикой позволять действующим лицам говорить непростойности? Отвечается: эти лица и не подозревают о публике; они решительно одни, как любовник с любовницей, как муж с женой, как Меркутио с Бенволио ( нецеремонные друзья). Пракситель, обдывая формы статуи, заботится об истине всех частей ее (вот его коран!), а не о тех, кто будет прогуливаться мимо выставленной его статуи. 2) Для чего в одном произведении помещать прозу, полустихи (т.е. стихи без рифм) и настоящие стихи (по понятию простонародному)? Потому, что в трагедии есть лица, над которыми все мы смеялись бы, если бы кто вздумал подозревать, что они способны к поэтическому чувству; а из круга людей, достойных поэзии, иные бывают на степени поэзии драматической, иные же, а иногда и те же, на степени поэзии лирической: там дипломатическая музыка, а здесь военная...»).
- 51 Перевод П.А. Вяземского вышел в 1831 г. с посвящением Пушкину. Роман «Адольф», опубликованный сначала в Лондоне (1815) и лишь год спустя в Париже, на самом деле появился позже, нежели «Паломничество Чайльд-Гарольда» Байрона. Таким образом, «характер, впоследствии обнародованный гением лорда Байрона», – Дон Жуан (в приведенной Пушкиным строфе из «Евгения Онегина» он именуется Байрона «певцом Гяура и Жуана»).
- 52 По поводу описания «Клариссы» в третьем письме Лизы к Саше Ю.М. Лотман замечает: «[оно] обычно трактуется как плод художественной фантазии Пушкина. На самом деле перед нами отсылка к вполне точному историко-литературному факту и определенным биографическим обстоятельством автора. Многотомное издание “Клариссы Гарлоу”, переплетенное по две книги в каждом томе, действительно существовало и было прекрасно известно Пушкину. В составленном Б.Л. Модзалевским списке книг библиотеки села Тригорского читаем: “Lettres angloises ou Histoire de Miss Clarisse Harlove. Nouvelle édition... Paris. 1777. 14 томов в 7 переплетах, со многими гравированными картинками. [Перевод абб. Prévost ]. На чистом, после переплетной крышки, листке в т. I находится женский поясной портрет в профиль, с накинутой на плечи шалью; рисован он несомненно Пушкиным...”. Предисловие переводчика, о котором пишет пушкинская Лиза, также обретает вещественную реальность. Это предисловие Прево, где читаем: “Конечно, в первых пяти-шести томах не следует ожидать живейшего интереса... Нельзя требовать, чтобы огонь пылал, если его не разожгли. Но в конце концов жар делается чувствительным на каждой странице”... Пушкин прочел “Клариссу” в Михайловском, пользовался экземпляром из тригорской библиотеки. Это удостоверяется не только рисунком на книге, но и словами в письме к брату Льву,

написанном в 20-х числах ноября 1824 г.: “Читаю Кларису, мочи нет какая скучная дура!” Бросается в глаза близость выражений в пушкинском письме к брату и письме Лизы из “Романа в письмах”...».

- 53 Ср. письмо Пушкина к А.А. Бестужеву (конец мая – начало июня 1825 г.) и дружеские замечания в письмах к Пушкину К.Ф. Рылеева: «<...> тебя ждет завидное поприще: ты можешь быть нашим Байроном, но ради Бога, ради Христа, ради твоего любезного Магомета не подражай ему. Твое огромное дарование, твоя пылкая душа могут вознести тебя до Байрона, оставив Пушкиным» (12 мая 1825 г.); «Ты сделался аристократом; это меня рассмешило. Тебе ли чваниться пятисотлетним дворянством? И тут вижу маленькое подражание Байрону. Будь ради Бога, Пушкиным. Ты сам себе молодец» (первая половина июня 1825 г.)
- Ответ Пушкина – отчасти в его набросках предисловия к «Борису Годунову» (1830 г.): «Изо всех моих подражаний Байрону дворянская спесь была самое смешное...»; отчасти – в его статье «Опровержение на критики», написанной чуть позже: «Если быть старинным дворянином значит подражать английскому поэту, то сие подражание весьма невольное...». Отчасти – в стихотворении того же года «Моя родословная».
- 54 Пушкинский «Сонет» восходит к сонету Уильяма Вордсворта (1770–1850) «Scorn not the Sonnet; Critic., you have frowned...», откуда Пушкин взял эпиграф к своему стихотворению. Пушкин мог знать его по книге Сент-Бева «Жизнь, стихотворения и мысли Жозефа Делорма», на которую откликнулся рецензией; его сонет «Ne rit point des sonnets, o critique moquer!» имеет подзаголовок «imité de Wordsworth».
- 55 Стихотворение посвящено вельможе екатерининских времен князю Н.Б. Юсупову (1751–1831), жившему в последние годы в своем подмосковном имении Архангельское, где Пушкин его и посещал. При Екатерине Юсупов выполнял многие щекотливые дипломатические поручения, в том числе и в Лондоне. М.П. Алексеев, цитируя строфу «Но Лондон звал твоё внимание. Твой взор...», говорит, что в этом стихотворении «Пушкин... давал попутную, но продуманную характеристику английского конституционного строя» («двойственный собор» – замечательное определение английского парламента, состоящего из двух палат).
- 56 Как и «Суровый Дант», это стихотворение также – по мнению П.О. Морозова, которое Н.В. Яковлев подтверждает, приводя тексты оригиналов, – восходит через Сент-Бева (его второй сборник «Утешения», также фигурирующий в пушкинской рецензии) к Вордсворту (у Сент-Бева – вновь подзаголовок «imité de Wordsworth», который Пушкин опустил). Хотя, как указывает Н.В. Яковлев, на этот раз Пушкин значительно дальше уходит от первоисточников.
- 57 Первый перевод Пушкина из шотландского поэта Барри Корнуолла (настоящее имя Брайан Уоллер Проктер. 1787–1874) – стихотворение «Серенада».
- 58 Вольный перевод стихотворения Барри Корнуолла «Песня». В оригинале – эпиграф: Here's a health to thee, Jessy. Burns.
- 59 Подзаголовок Пушкина – литературная мистификация, жанр им весьма излюбленный. У реально существовавшего поэта Уильяма Шенстона (1714–1763) (во времена Пушкина это имя произносилось как «Ченстон»), такого произведения не существует. Как нет его вообще в английской литературе. Имя Ченстона впервые возникает в подзаголовке «Скупого рыцаря» в 1836 г.. при подготовке Пушкиным его первой публикации в «Современнике» (1836, т. 1). Как указывает Л.М. Аринштейн, именно в это время в библиотеке Пушкина появляется книга литературного критика и очеркиста И. Дизраэли (1766–1848) «Личная жизнь поэта. В защиту Шенстона», включенная в третий том его труда «Курьезы литературы», из которой Пушкин мог почерпнуть свои сведения об этом полузабытом поэте, не понятом при жизни и недооцененном после смерти (тема для Пушкина весьма болезненная, в последние годы жизни в особенности). Примечательно и то, что в болдинской рукописи рядом с первоначальным заголовком «Скупой» помещена своеобразная пояснительная надпись: «the covetous Knight», что примерно соответствует русскому «скупой рыцарь». Впоследствии Пушкин ее зачеркнул, а уже в письме к Плетневу от 9 декабря 1830 г. твердо называет свое произведение «Ску-

- пой рыцарь». Слово «covetous», среднеанглийского происхождения, могло быть известно Пушкину из романа Ричардсона «Кларисса Гарлоу» или Вальтера Скотта «Кенилворт»; сочетание же «covetous knight» в английских текстах до 1830 г. не зафиксировано. То есть, Пушкин, по-видимому, сначала сформулировал свою мысль по-английски, а затем «перевел» ее на русский язык. Примечательны в этом плане отзывы о его пьесе, свидетельствующие о том, сколь близкой к английской драматургической традиции она воспринималась: «Несколько стихов в монологе Скупца носят слишком резкий отпечаток не русского происхождения – от них веет переводом, а именно: «совесть,... зверь, скребящий сердце, совесть» и т.д. «Слушаются и мертвых выссылают». Чисто английская, шекспировская манера!» (И.С. Тургенев. Письмо П.В. Анненкову. 2 февр. 1853 г.); «По общему характеру произведения видно, что Пушкин пользовался каким-то иностранным литературным источником. В “Скупом рыцаре” нет ничего русского...» (Н.Ф. Сумцов). Еще одна деталь: в том же томе «Курьезов» помещена и статья Дизраэли «Литературные мистификации», также Пушкиным прочитанная.
- 60 Переработка фрагмента (сц. IV I акта) драматической поэмы поэта «озерной школы» Джона Вильсона (1785–1854) «Город Чумы» (1816), известной Пушкину по парижскому (на английском языке) изданию 1829 г.: тому «Poetical works», выпущенному издательством «Galignani», куда вошли произведения четырех поэтов: Генри Харта Милмена (1791–1868), Уильяма Л. Боулза (1762–1850), Барри Корнуолла и Дж. Вильсона. Однако, Пушкин практически пишет абсолютно оригинальное произведение, имеющее мало общего с поэмой Вильсона не только чисто текстуально, но, главное, – в корне отличаясь от нее своим замыслом, вписываясь в собственное, пушкинское, движение мысли этих лет.
- 61 Увлечение Пушкина Вальтером Скоттом, начинающееся в 1820-е гг., в начале 1830-х переживает свой пик: разные исследователи отмечали «вальтерскоттовские аллюзии» в «Скупом рыцаре» (отзвуки романа «Пертская красавица»); совпадение типажей Савельича в «Капитанской дочке» и Калеба из «Ламмермурской невесты», впервые указанное А.Н. Веселовским; введение эпизода из «Роб Роя» в «Капитанскую дочку»; и т.д. Ссылка в новелле «Гробовщик» ведет нас непосредственно к «Ламмермурской невесте» В.Скотта (глава XVI с эпиграфом из «Гамлета»).
- 62 Имеются в виду скандальные мемуары актрисы Хэрриет Вильсон, вышедшие в Париже в 1825 г.
- 63 В заметке, напечатанной без подписи в «Литературной газете» 25 февр. 1830 г., речь идет о пародиях Н. Полевого на Пушкина и поэтов его круга (Вяземского, Дельвига, Баратынского, Языкова), опубликованных в «Московском телеграфе». Таким образом, в данном случае В. Скотт поспособствовал Пушкину в его полемике с собственными литературными противниками.
- 64 См. коммент. 23.
- 65 Эпиграф к «Дон Жуану», ставший предметом пушкинского внимания, взят из «Послания к Пизонам об искусстве поэзии» Горация. Стих этот имел различные толкования. Интересен в данном случае суждение Пушкина о том, что «предмет Дон Жуана принадлежит исключительно Байрону» – несмотря на то, что этот «бродячий сюжет» был известен задолго до него.
- 66 Неоконченная статья Пушкина, посвященная разбору драмы «Марфа Посадница», причем имя ее автора – М.П. Погодина – Пушкину в момент написания статьи известно не было: драма была прочитана им в рукописи и должна была публиковаться без указания имени автора. Однако, ее чтение стало для Пушкина еще одним поводом высказать свои взгляды на драматическое искусство, сложившиеся в период работы над «Борисом Годуновым» и в основе своей имевшие принципы, на которых строилась шекспировская драматургия, наиболее Пушкину близкая. Позже, в письме к М.Н. Погодину, датируемым последними числами ноября 1830 г., Пушкин, восхищенно перечисляя особенности понравившейся ему сцены из «Марфы Посадницы», восклицает: «Я вам говорю, что это все достоинства – ШЕКСПИРОВСКОГО!»
- 67 Под «странными сближениями» Пушкин явно подразумевает совпадение даты завер-

- шения своей работы над «Графом Нулиным» и восстания декабристов. Любопытную и весьма далеко идущую параллель приводит в своих «Заметках к пушкинским текстам» Ю.М. Лотман: «Отрывок, известный под заглавием «Заметка о “Графе Нулине”», обрывается на несколько загадочной фразе: «Бывают странные сближения». Смысл ее, возможно, несколько прояснится, если мы учтем, что в данном случае перед нами реминисценция из одного из писем Л. Стерна...: «Мелкие события... сближаются столь же странно, как и великие»... Характерно, что именно мыслью о возможности странных сближений не только в мире исторических событий, но и в обстоятельствах жизни отдельного человека это письмо привлекло также внимание Байрона, который написал 5 ноября 1821 г.: «В мелочах нашей жизни... бывают странные совпадения», – говорит Стерн в каком-то из писем (если не ошибаюсь), и у меня часто оказывалось именно так». ...Речь идет о совпадении предмета размышлений и неизвестного еще события реальной жизни. Именно это хотел подчеркнуть Пушкин цитатой из Стерна: в ночь на 14 декабря 1825 г. он размышлял об исторических закономерностях и о том, что из-за сцепления случайностей великое событие может не произойти».
- 68 Речь идет о поэме «Паломничество Чайльд-Гарольда». Песнь IV, строфа СХІ.
- 69 Реплика Пушкина – иронический отклик на «Рассуждение о романтической поэзии» Н.И. Надеждина, начавшее печататься в первых номерах «Вестника Европы» за 1830 г., где романтики сопоставлялись с Шекспиром. Для возражения своему оппоненту Пушкин находит аргументы у самого Шекспира (что лишний раз свидетельствует о свободном владении «шекспировским пространством»): он приводит слова простодушной и невежественной крестьянки Одри («Как вам это понравится», д. III, сц. 3), которая никак не может взять в толк, что говорит ей шут Оселок, в том числе – про «поэтичность». Ср.: письмо А.А. Бестужеву от 24 марта 1825 г. (см. коммент. 129).
- 70 Заметка напечатана в «Литературной газете» 21 января 1830 г. Авторство Пушкина не установлено.
- 71 По мнению Н.В. Измайлова, выбору необычайной композиционной рамки этой неоконченной Пушкиным повести мог способствовать, в частности, и роман В. Скотта «Сент-Ронанские воды» (1823, рус. пер. 1828). В подтверждение этой гипотезы М.П. Алексеев приводит фрагмент из письма Вяземского к жене о поездке на пароходе в Кронштадт 25 мая 1828 г., где идет речь о привлечшей его и Пушкина внимание молодой англичанке, «прибывшей накануне с мужем из Лондона»: «Пушкин нашел, что она похожа на сестру игрока des eaux de Ronan». Об этом романе писал Пушкину в черновом письме, из которого сохранился только отрывок, Денис Давыдов, в тот момент уже заочно познакомившийся с В. Скоттом; примечательно также, что в подробном письме самому В. Скотту с «отчетом» о своем отдыхе на Кавказе, он говорит о том, что «было бы занятно увидеть эти воды изображенными в романе, подобно Сент-Ронанским: какие бы тут обнаружили контрасты!» Учитывая приведенные ранее предположения Д.П. Якубовича относительно «композиционных заимствований» Пушкина у В. Скотта в своих «Повестях Белкина», догадка Н.В. Измайлова представляется небезосновательной.
- 72 Чрезвычайный пиетет Пушкина к европейской журналистике, в частности, к одному из старейших лондонских журналов «Edinburgh Review», проходит сквозь множество его литературных статей, особенно полемического характера, направленных против отвратительных ему свойств журналистики русской. Об особом интересе Пушкина к этому журналу свидетельствует, в частности, и тот факт, что в его библиотеке сохранилось шесть томов «Извлечений» из него («Selections from the Edinburgh Review». Paris, 1835–1836). Ссылаясь на опыт и высокий уровень все того же «Edinburgh Review», он обращается к Бенкендорфу с просьбой об открытии собственного журнала (см. письмо). В данной статье речь идет о том, что в Англии и во Франции «противоборствующие» журналы издаются представителями политических партий, имеющими, по мысли Пушкина, право претендовать на то, чтобы говорить от имени нации. Уильям Гиффорд (1756–1826) – первый редактор либерального журнала «Quarterly Review» (1809–1824), созданного Дж. Каннингом; Фрэнсис Джеффри (1773–1850) – юрист и литературный критик, шотландец по происхождению. В период с 1801 по июль

- 1829 г. – редактор «*Edinburgh Review*». Уильям Питт Младший (1759–1806) – премьер-министр Великобритании в 1783–1801 и 1804–1806 гг., лидер т.н. новых тори. По его инициативе был создан журнал «Антякобинец». Упоминание о нем см. также в пушкинской «Оде Его сиятельству гр. Дм. Ив. Хвостову» (1825).
- 73 Мотив алогизма, необъяснимости того чувства, что связывало шекспировских героев – Отелло и Дездемону – преследовал Пушкина, можно сказать, назойливо. В этой строфе из «Езерского» характерна «оговорка» (текстуально повторенная впоследствии в стихотворении Импровизатора в «Египетских ночах»): Пушкин называет Отелло «арапом», в то время как шекспировский герой был, как известно, мавром. Уж не примеряет ли на себя женатый к тому моменту Пушкин его «арапскую личину»? Несомненно одно: автобиографичность этого отрывка, еще больше усиленная в повести «Египетские ночи».
- 74 Необработанное начало перевода драмы У. Шекспира «Мера за меру». По свидетельству П.В. Нащокина, записанном в 1850-е гг. П.И. Бартеневым, «читая Шекспира, он [Пушкин] пленился его драмой “Мера за меру”, хотел сперва перевести ее, но оставил это намерение, не надеясь, чтобы наши актеры, которыми он не был вообще доволен, умели разыграть ее. Вместо перевода, подобно своему Фаусту, он перевел Шекспирово создание в своем Анджело». Именно Нащокину Пушкин говорил: «Наши критики не обратили внимания на эту пиесу и думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучше я не написал». Что же касается начатого перевода, то еще в 1880 г. Н.И. Стороженко отмечал, что этот «мастерской перевод... показывает, что мы лишились в Пушкине великого переводчика Шекспира».
- 75 В рукописи поэмы имелся подзаголовок: «Повесть, взятая из Шекспировой трагедии *Measure for Measure*.» Пристальный интерес Пушкина к этому не самому знаменитому и «хрестоматийному» произведению Шекспира прослеживается, начиная с его статьи 1826 г. «О народности в литературе». Весьма вероятно, что интерес этот (завершившийся сначала попыткой перевода, а затем полным текстом переложения шекспировского сюжета – случай для Пушкина уникальный) объяснялся постоянным, жгучим интересом Пушкина к теме «самозванства», воплощенной им в «Борисе Годунове». Неслучайно в этой связи наблюдение М.П. Алексеева о том, что знаменитые слова Бориса «чернь любить умеет только мертвых», навеяны чтением Пушкиным шекспировской трагедии «Антоний и Клеопатра», где также речь идет о «незаконной» власти. В то же время – странные вновь совпадения с легендами о «тамбовском старце» Федоре Кузьмиче, которые начинают ходить по Петербургу одновременно с появлением в свет пушкинской поэмы.
- 76 «*Les enfants d'Edouard*» – трагедия Казимира Делавиня, в которой изображалось убийство малолетних сыновей Эдуарда IV их дядей герцогом Глостером, будущим королем Ричардом III. О запрещении трагедии, шедшей на сцене Михайловского театра в исполнении французской труппы, говорили в связи с тем, что она вызывала аллюзии с убийством Павла I. Однако, она не была снята с репертуара.
- 77 *Эккерн* – барон Луи-Борхард ван-Геккерен-де-Беверваард (1791–1884) – нидерландский поверенный в делах в Петербурге с 1823 г. и посланник с 1826 г. Приемный отец Ж. Дантеса. *Джон Дункан Блай* (1798–1872) – английский посланник в Петербурге с 7 сент. 1832 г., с которым Пушкин был довольно близко знаком. Граф *Павел Иванович Медем* (1800–1854) в июне 1834 г. был назначен исправляющим должность поверенного в делах в Лондоне. Светлейший князь *Христофор Андреевич Ливен* (1774–1838) – с 1812 по 1834 гг. посол в Лондоне. В 1834 г. был назначен попечителем к наследнику престола. *Каннинг* – имеется в виду дипломат Чарлз Стратфорд-Каннинг (1786–1880) – приезжал в Россию весной 1825 г., в период, когда Англия была готова разрешить греческую проблему в духе, приемлемом для обеих держав. В русской историографии его обычно путают с двоюродным братом Джорджем Каннингом (1770–1827), занимавшим сначала пост министра иностранных дел Великобритании, а затем премьер-министра. Джордж Каннинг никогда не посещал России. Стратфорд-Каннинг был в 1825 г. назначен послом в Османской Порте, после чего приобрел в России известность как один из ее ярких недоброжелателей и противников ее политики в греческом вопросе. Этим

обстоятельством и объясняется отказ Николая I утвердить его назначение на пост английского посла в Петербурге. Написанное у Пушкина в скобках «Strangford» – ошибка, также имеющая свое объяснение: Пушкин вспоминает о лорде Стрэнгфорде, британском после в Константинополе, туркофиле, апологете турецкой деспотии в Греции, оказывавшем открытое противодействие русскому послу Г.А. Строганову, пытавшемуся спасти греков от истребления.

- <sup>78</sup> *Молодые сыновья Кеннинга и Веллингтона* – английские путешественники Чарльз Каннинг, сын Джорджа Каннинга, и маркиз де Дуро, сын герцога Артура Уэлсли Веллингтона, героя битвы при Ватерлоо, в 1834–35 гг. – министра иностранных дел Великобритании.
- <sup>79</sup> См. коммент. 16.
- <sup>80</sup> Джордж Крабб (1754–1832) входил в число английских поэтов, привлечших внимание Пушкина в 1830-гг. (то есть, в период, когда он начал активно читать английскую литературу в подлиннике, а не во французских переводах). Ср. его письмо к Плетневу от 26 марта 1831 г.
- <sup>81</sup> В возмущении по поводу аттестации Ломоносова «русским Бэконом», возможно, процитируется отзвук собственного пушкинского раздражения относительно себя в роли «русского Байрона».
- <sup>82</sup> В первой редакции статьи суждения о положении английских крестьян, которые в окончательном тексте идут от имени автора, высказывал в беседе с рассказчиком некий англичанин. Этот раздел статьи имел подзаголовок «Подсолнечная». Приведем этот разговор полностью:

«Подле меня в карете сидел англичанин, человек лет 36. Я обратился к нему с вопросом: что может быть несчастнее русского крестьянина?

*Англичанин.* Английский крестьянин.

*Я.* Как? Свободный англичанин, по вашему мнению, несчастнее русского раба?

*Он.* Что такое свобода?

*Я.* Свобода есть возможность поступать по своей воле.

*Он.* Следственно, свободы нет нигде – ибо везде есть или законы, или естественные препятствия.

*Я.* Так, но разница покоряться предписанным нами самими законам, или повиноваться чужой воле.

*Он.* Ваша правда. Но разве народ английский участвует в законодательстве? разве власть не в руках малого числа? Разве требования народа могут быть исполнены его поверенными?

*Я.* В чем вы полагаете народное благополучие?

*Он.* В умеренности и соразмерности податей.

*Я.* Как?

*Он.* Вообще повинности в России не очень тягостны для народа. Подушная платится миром. Оброк не разорителен (кроме близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности умножает корыстолюбие владельцев). Во всей России помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своему крестьянину доставать оный, как и где он хочет. Крестьянин промышляет, чем вздумает, и уходит иногда за 2000 верст вырыбывать себе деньги. И это называете вы рабством? Я не знаю во всей Европе народа, которому было бы дано более простору действовать.

*Я.* Но злоупотребления...

*Он.* Злоупотреблений везде много. Прочтите жалобы английских фабричных работников – волоса встанут дыбом. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой – какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет об сукнах г-на Шмидта или об иголках г-на Томпсона. В России нет ничего подобного.

Я. Вы не читали наших уголовных дел.

Он. Уголовные дела везде ужасны; я говорю вам о том, что в Англии происходит в строгих пределах закона, не о злоупотреблениях, не о преступлениях. Кажется, нет в мире несчастье английского работника – что хуже его жребия? – но посмотрите что делается у нас при изобретении новой машины, вдруг избавляющей от каменной работы тысяч пять или десять народу и лишаящей их последнего средства к пропитанию?..

Я. Живали вы в наших деревнях?

Он. Я видал их проездом, и жалею, что не успел изучить нравы любопытного вашего народа.

Я. Что поразило вас более всего в русском крестьянине?

Он. Его опрятность, смышленность и свобода.

Я. Как это?

Он. Ваш крестьянин каждую субботу ходит в баню; умывается каждое утро, сверх того несколько раз в день моет себе руки. О его смышленности говорить нечего. Путешественники ездят из края в край России, не зная ни одного слова вашего языка, и везде их понимают, исполняют их требования, заключают условия; никогда не встречал я между ими ни то, что соседи наши называют *un badaud*, никогда не замечал в них ни грубого удивления, ни невежественного презрения к чужому. Переимчивость их всем известна; проворство и ловкость удивительны...

Я. Справедливо; но свобода? неужто вы русского крестьянина почитаете свободным?

Он. Взгляните на него: что может быть свободнее его обращения! есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи? Вы не были в Англии?

Я. Не удалось.

Он. Так вы не видели оттенков подлости, отличающих у нас один класс от другого. Вы не видели раболепного *maintien* Нижней каморы перед верхней; джентельменства перед аристократией; купечества перед джентельменством; бедности перед богатством; повиновения перед властью. – А нравы наши, а *conversaton criminal*, а продажные голоса, а уловки министерства, а тиранство наше с Индиєю, а отношения наши со всеми другими народами?...

Англичанин мой разгорячился и совсем отделился от предмета нашего разговора. Я перестал следовать за его мыслями – и мы приехали в *Клин*.

Долгое время предполагалось, что фигура «англичанина» – вымышленная. Однако, как указывает М.П. Алексеев, в ней слишком много конкретных деталей, чтобы не узнать за ними реальное лицо. Весьма вероятно, что воображаемый собеседник Пушкина – это Джордж Борро (1803–1881), еще один англичанин, путешествовавший по России, но, в отличие, от большинства прочих, знаменитый тем, что именно он оказался одним из первых переводчиков Пушкина на английский язык. Переводы Дж. Борро были изданы в России (сб. «Таргум, или Стихотворные переводы с тридцати языков и наречий», включивший пушкинскую «Черную шаль» и «Песню Земфиры» из поэмы «Цыганы», и «Талисман. Перевод с русского языка стихотворения Александра Пушкина. С прибавлением других стихотворений», включившего, помимо заглавного стихотворения, балладу «Русалка»; оба – Спб., 1835 г.). Оба сборника имелись в библиотеке Пушкина, переплетенные под одной обложкой. Сохранилось благодарственное письмо Пушкина, направленное им Дж. Борро (см. в разделе «Письма»). Взгляды, вложенные Пушкиным в уста своего «англичанина», очень напоминают то, что говорил в разговорах со своими русскими знакомыми реальный Борро. К тому же, в 1835 г. он действительно совершил именно такую поездку, которую описывает Пушкин.

<sup>83</sup> Речь идет о переводе баллады В. Скотта, впервые опубликованном в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения» (1824) под названием «Замок Смалгольм. Шотландская сказка». В том же году перевод был перепечатан в «Новостях литературы» под названием «Дунканов вечер. Шотландская сказка». Представленный в цензуру за два года до этого, в 1822 г. перевод не был пропущен, как стихотворение «не заключающее в себе ничего полезного для ума и сердца и совершенно чуждое всякой нравст-

- венной цели», и лишь два года спустя публикация получила цензурное разрешение – однако, Жуковскому пришлось заменить в названии Иванов вечер (канун церковного праздника в честь Иоанна Крестителя 24 июня) на несуществующий в реальности «Дунканов вечер».
- 84 Пушкин ставит в один ряд представителей классической английской историографии Дэвида Юма (1711–1776), чьи книги, среди прочих, входили в первый вариант описания библиотеки Онегина, и Эдварда Гиббона (1737–1794), упоминающегося в восьмой главе «Евгения Онегина»: «Стал вновь читать он без разбора. / Прочел он Гиббона, Руссо...». (Впрочем, как отмечает Ю.М. Лотман, «в пушкинскую эпоху... Гиббон воспринимался как историк уже прошедшего века... В «Истории села Горюхина» Белкин не без иронии уподоблен Гиббону: «Ныне, как некоторый мне подобный историк, коего имени я не запомню, окончу свой трудный подвиг, кладу перо и с грустию иду в мой сад...») – с основателем жанра «готического романа» Хорасом Уолполом (1717–1797), уже после публикации своего знаменитого романа «Замок Отранто» познакомившегося в Париже с И.И. Шуваловым, после чего между ними возникла переписка, причем, не литературного свойства. Очевидно, здесь было сходство политических воззрений, а если учесть, что Шувалов в то же самое время переписывался с Вольтером, то фраза Пушкина становится более чем понятной.
- 85 Роман Эдварда Джорджа Булвер-Литтона (1803–1873) «Пелэм, или Приключения джентльмена» вышел в Лондоне вторым изданием в 1828 г. И почти сразу был прочитан Пушкиным. С тех пор отзвуки «Пелэма» – явные или скрытые – возникают во многих его произведениях и набросках. Впервые упоминание «Пелэма» встречается во втором варианте основного плана «Романа на Кавказских водах» (1831): «Якубович сватается через брата Pelham – отказ. Дуэль...». Как указывает Ю.М. Лотман, «имя Пелэма вписано Пушкиным позже, и смысл его не совсем ясен». Понятно, что образ Пелэма – аристократа, денди, законодателя моды, и одновременно – человека, проводящего жизнь в сомнительном обществе, в притонах и трущобах, – волновал воображение Пушкина своей двойственностью и потому неуловимостью. Маской, за которой удобно скрыться. В письме к А.А. Бестужеву от 30 ноября 1825 г. он пишет: «Якубович... герой моего воображенья... Когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я с ним разбойничал на Кавказе. В нем много, в самом деле, романтизма...» Замысел романа «Русский Пелам» связан с фигурой реальной: разбойником-дворянином Федором Федоровичем Орловым (1792–1834), героем войны 1812 года (свидетельства о встречах с ним Пушкина сохранились в воспоминаниях и дневниках В.П. Горчакова и И.П. Липранди). Для Пушкина это было продолжением темы, начатой в «Дубровском» – как указывает Ю.М. Лотман, замысел рождался у него в период интенсивного общения с Гоголем, когда Пушкин подсказал ему сюжет «Мертвых душ», а развитие образа «русского Пелама» видится Лотману в фигуре гоголевского капитана Копейкина.
- 86 План неосуществленного замысла, причем, из последних слов следует, что Пушкин сам не решил, каким будет его жанр. Сюжет, между тем, имеет и скрытые «английские корни» тоже: он основан на средневековой легенде о женщине, будто бы занимавшей папский престол – дочери английского миссионера, вслед за своим возлюбленным, фульдским монахом, бежавшей в Афины, затем попавшей в Рим, где под именем Иоанна Англичанина она вступила в духовное звание, стала кардиналом, а затем была избрана папой. После двухлетнего понтификата, во время одной из процессий, она разрешилась от бремени и умерла. С середины XVII в. история эта признана абсолютным вымыслом.
- 87 Стихотворение посвящено Барклаю де Толли и начинается с описания галереи 1812 года в Зимнем дворце, где собраны портреты, написанные художником Дж. Доу. О нем см. коммент. 39.
- 88 Перевод начала поэмы Саути «Родерик, последний из готов». О результате пушкинской работы над текстом первоисточника приведем суждение Н.В. Яковлева: «...можно сказать, что почти каждое слово пушкинского романса мы находим у Саути, – а в то же время пьеса оставляет впечатление полной свободы и естественности, совершенного архаизма языка и младенчества мысли, свойственных так называемой “народной поэ-



- зии". Этих черт лишена ретроспективно-романтическая и филистерски-морализующая поэма Соути».
- 89 Стихотворение написано на мотивы романа Джона Беньяна (1628–1688) «Путь паломника». Как обычно, Пушкин далеко отошел от подлинника. В строке «Как узник, из тюрьмы замысливший побег... (другая редакция: «Как раб, замысливший отчаянный побег...») Пушкин цитирует одно из своих собственных, самых пронзительно-исповедальных, стихотворений: «Пора, мой друг, пора...» («Давно, усталый раб, замыслил я побег...»).
- 90 Начало первого монолога Фредерико из «драматической сцены» Барри Корнуоля «Сокол».
- 91 Перевод начальных стихов поэмы Байрона «Мазепа».
- 92 Наброски перевода из стихотворения Колриджа «Жалоба».
- 93 Перевод шотландской песни.
- 94 В рукописи повести «Египетские ночи» имеется другое, зачеркнутое заглавие – «Клеопатра». Стихотворение под таким названием впервые написано Пушкиным в 1824 г.; в повесть вошла его вторая редакция, переработанная в 1828 г. Принято полагать, что источником сюжета о Клеопатре послужило для Пушкина историческое сочинение «О знаменитых мужах», приписываемое Аврелию Виктору и дополненное чтением Плутарха. Однако, как указывает Б.В. Томашевский, Пушкин вдохновлялся не только чтением древних классиков, но и французским переводом трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра», принадлежавшим Летурнеру (Полное издание сочинений Шекспира 1821 г. в переводе Летурнера имелось в его библиотеке). Описание царицы Египта воспроизведено Пушкиным почти буквально, при этом стих «Блестает ложе золотое» показывает непосредственную зависимость от перевода Летурнера. Ряд исследователей склонны были также усматривать отзвуки этой шекспировской трагедии (в частности, сцены прощания Антония и Клеопатры – д. 1, сц. 3) – в поэме Пушкина «Русалка», писавшейся в конце 1820-х – начале 1830-х гг., когда Пушкин уже мог читать Шекспира в подлиннике.
- Не менее интересно в повести «Египетские ночи» развитие темы Поэта, возникающей в первом стихотворении Импровизатора («Поэт идет: открыты вежды...») – в сравнении со строфой XIII из поэмы «Езерский». Эта тема – лейтмотив пушкинской поэзии 1830-х гг.: от «Поэту» («Поэт! не дорожи любовью народной...») – до «Из Пиндемонта». Примечательно, что и в этом стихотворении, и в стихотворении Импровизатора, шекспировские мотивы оказываются для Пушкина столь естественно вплетаемыми в строй собственных образов и размышлений.
- 95 Набросок начала статьи-биографии о Байроне. На листе автографа статьи имеется помета: «О Байроне и о предметах важных. 1835. Черная Речка, дача Миллера, 25 июля», являющаяся неточной цитатой из «Горя от ума» (слова Репетилова, д. IV, явл. 4: «... О Бейроне, ну о матерях важных...»). Французская выписка взята из выпущенного Т. Муром двухтомника «Письма и дневники Байрона с замечаниями о его жизни» (1830). Книга эта, вышедшая в Лондоне, была признана русской цензурой опасной и нежелательной для распространения и русским почитателям Байрона пришлось знакомиться с ней во французском переводе Луизы Беллок, изданном в том же году в Париже. Именно по этой причине выписки из дневников Байрона даются в пушкинском наброске по-французски. История публикации Томасом Муром материалов, связанных с жизнью Байрона, имела в России шумный резонанс, отразившись в том числе и в пушкинских текстах (см. его письмо к Вяземскому, датированное второй половиной ноября 1825 г.). Однако, мысль о том, чтобы самому написать биографию Байрона, возникает у Пушкина пять лет спустя после публикации двухтомника Т. Мура – в связи с выходом в русском переводе другой книги: «Записки о лорде Байроне», автором которых был Томас Медвин (1788–1869). В России эти «Записки» были известны еще с 1824 г. – когда они были впервые изданы в Париже: сначала в оригинале, а потом во французском переводе. Знал о них и Пушкин (см. его письма к брату из Михайловского 1824–1825 гг.).

- 96 О происхождении заглавия «Table-Talk» см. коммент. 41. Существует и другая версия – о заимствовании заглавия у Уильяма Хэзлитта, книга которого «Table-Talk: or original essays» (Париж, 1825) также имела в библиотеке Пушкина.
- 97 Речь идет об Александре Львовиче Давыдове (1773–1833), с которым Пушкин познакомился на юге в Каменке (см. стихотворение «Нельзя, мой толстый Аристипп...»). «Четырехлетний сынок его» – его сын Владимир.
- 98 Разъяснение этой записи – в собственном пушкинском наброске статьи 1828 г. «О драмах Байрона», где, в частности, речь идет о неудачных попытках Байрона в драмах «Манфред» и «Превращенный урод» создать подражание «Фаусту».
- 99 Василий Андреевич Дуров (1799 – после 1860) – знакомый Пушкина по Кавказу. Его «аттестация» сохранилась в воспоминаниях М.И. Пушина: «...замечательная личность, которая очень была привлекательна для Пушкина... Цинизм Дурова восхищал и удивлял Пушкина; забота его была постоянная заставлять Дурова что-нибудь рассказывать из своих приключений, которые заставляли Пушкина хотеть от души; с утра он отсылал Дурова и поздно вечером расставался с ним». Несомненно, одно из таких «приключений» и составило канву данного анекдота. Пушкин действительно способствовал изданию «Записок» сестры Дурова, Надежды Андреевны Дуровой (1783–1866), знаменитой кавалерист-девицы. Быть может, обращение Дурова к Пушкину с просьбой о помощи его сестре (см. ответное письмо Пушкина от 16 июля 1835 г.: «Искренне обрадовался я, получа письмо Ваше, напомнившее мне старое, любезное знакомство...») побудило Пушкина записать один из анекдотов давнего приятеля.
- 100 См. коммент. 39.
- 101 Цитата из стихотворения ирландского священника и поэта Чарлза Вулфа (1791–1873) «На погребение английского генерала сэра Джона Мура» (1816), пользовавшегося в XIX в. большой популярностью, и приписывавшегося поочередно многим знаменитым поэтам того времени, в том числе Байрону и Т. Муру. Впервые появилось в русском переводе (И.И. Козлова) в 1826 г. как стихотворение Байрона. Имя Ч. Вулфа ни разу не встречается у Пушкина. По-видимому, оно не было ему известно.
- 102 Цитата из поэмы Т. Мура «Лалла-Рук». По предположению М.П. Алексеева, Пушкин скорее всего почерпнул ее из прозаического перевода, опубликованного в «Сыне отечества» (1827), а уже потом нашел и английский оригинал. Эта же публикация, как пишет Алексеев, была «единственным источником Гоголя для IV картины «Ганца Кюхельгартена», вышедшего в 1829 г.
- 103 Стихотворение обращено к князю Петру Борисовичу Козловскому (1783–1840) – блестящему представителю русской дипломатии, не один раз побывавшему в Англии, в том числе в 1814 г. в свите Александра I. Вяземский писал о нем: «В нем был и герцог Версальского двора, и английский свободный мыслитель». Козловский обладал даром неподражаемого рассказчика. Называя его «друг бардов английских», Пушкин скорее всего имел в виду Байрона: подтверждение их личного знакомства и особого расположения к нему Байрона мы находим в переписке последнего. Козловский (искаженно) упоминается в XVII-ой строфе 7-й песни «Дон Жуана»: «..Коклотский [Козловский], Шерематов и Храмахов – /Взгляните: что ни имя, то герой!» В черновом наброске стихотворения, написанном Пушкиным незадолго до своей смерти, речь идет о настойчивом требовании кн. Козловского, чтобы Пушкин взялся за перевод Ювенала, в частности его сатиры «Желания».
- 104 Неоконченное стихотворение, тематически связанное с переводом начала поэмы Саути «На Испанию родную...» (см. коммент. 88). Замысел обоих отрывков возник, скорее всего, в связи с выходом переводов из Саути, принадлежавших Жуковскому (см. письмо к Вяземскому от 11 июня 1831 г.). Впрочем, истоки этого замысла – в более давнем времени (о чем свидетельствует письмо к Гнедичу от 27 июня 1822 г.) – но и они связаны с переводами Жуковского. В отличие от пространного сочинения «На Испанию родную...», где Пушкин словно «не нашел себя», этот отрывок – практически отсутствующий у Саути – носит абсолютно личный характер и связан с событиями собственной биографии Пушкина. Укрытие за именем Саути в данном случае – не более, как

- еще одна пушкинская мистификация.
- 105 П том стихотворений Виктора Григорьевича Теплякова (1804–1842) вышел осенью 1836 г. Рецензия Пушкина появилась в III кн. «Современника» за тот же год без подписи.
- 106 Неточная цитата из первой песни «Паломничества Чайльд-Гарольда» Байрона (в подлиннике: «Adieu, adieu! my native shore»). «Фантастическая тень Гильд-Гарольда», которую Пушкин ощутил в стихах В. Теплякова, – несомненное воспоминание о собственном замысле десятилетней давности: предпослать своему стихотворению «Погасло дневное светило...» эпиграф: «Good night my native land. Вугоп». В самом деле: «бывают странные сближения»...
- 107 Начальные строки «Путешествия В.Л.П.» – шуточного стихотворения И.И. Дмитриева, изданного в 1808 г. в количестве 50 экземпляров. Готовность на поэтическую дерзость особенно ценна для Пушкина и в его авторе, и в его герое – ценнее, нежели «все, что писано... в подражание лорду Байрону».
- 108 Речь идет о трактатах Дж. Мильтона (1608–1674) «Иконоборец» и «Защита английского народа», а также о его сонете «Генералу Кромвелю».
- 109 Очередная мистификация Пушкина: Милтон на страницах романа В. Скотта «Вудсток» вообще не появляется.
- 110 По поводу пушкинского отношения к позиции 68-летнего Шатобриана (1768–1848) Ю.М. Лотман пишет: «Пушкин не боялся наступающего века и имел смелость употреблять такое выражение, как “торговая спекуляция”, не только в отрицательном, но и в положительном значении, бросая вызов романтикам, проклинавшим наступление “железного века” практицизма... Слова “с продажной рукописью, но с неподкупной совестью” могли бы быть написаны на знамени Пушкина-журналиста, создателя журнала “Современник”...». Лотман не указывает на неслучайное, конечно же, совпадение (вновь – «странные сближения») – с «Разговором книгопродавца с поэтом» написанном за 12 лет до статьи о Шатобриане.
- 111 набросок, связанный с замыслом статьи о пословицах. В одном из имевшихся в библиотеке Пушкина собрания русских пословиц (изд. 1770 г.) им отмечена пословица: «Ворон ворону глаза не выклюнет; а хоть и выклюнет, да не вытащит». У В. Скотта приведенная Пушкиным фраза встречается не только в предисловии к «Вудстоку», но также в романах «Гай Мэннеринг» и «Пертская красавица» (хотя английский аналог русского «ворон» – «hawk», равно как и французский «faucon» означает: сокол, ястреб, коршун. То есть – хищная птица. Эта же фраза («Ворон ворону глаза не выклюнет») находится на обороте 7-й страницы знаменитого письма Пушкина к П.Я. Чаадаеву от 19 окт. 1836 г.
- 112 См. коммент. 5.
- 113 Речь идет о переводе В.А. Жуковского второй восточной поэмы из «Лаллы-Рук» – «Рай и Пери», опубликованном в 1821 г. Интерес к «восточной повести» Т. Мура возник у Жуковского, когда, находясь в свите великой княгини Александры Федоровны во время ее поездки в Германию, он наблюдал постановку «живых картин» на сюжеты Мура. (см. коммент. 25). Перевод Жуковского имел среди читающего общества большой успех, и отзыв Пушкина звучит одиноким голосом в этом хоре похвал. См. также другое его письмо к Вяземскому (конец марта – начало апреля 1825 г.).
- 114 Роман Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди». См. коммент. 24.
- 115 «Шильонский узник» Байрона в переводе В.А. Жуковского вышел отдельным изданием в 1822 г. с посвящением: «Князю П.А. Вяземскому. От переводчика». Печаталось издание Н.И. Гнедичем. Безошибочность вкуса Пушкина сказалась в его абсолютном приятии этой работы Жуковского (см. письмо к Н.И. Гнедичу от 27 сент. 1822 г.).
- 116 Из перевода поэмы Саути «Родерик, последний из готов» сохранилось лишь несколько фрагментов, опубликованных после смерти Жуковского. Впоследствии Пушкин сделал собственный перевод из этой поэмы (см. коммент. 88). Фридрих фон Маттисон (1761–1831) – немецкий поэт-сентименталист, которого в России переводили Жуковский и Н.М. Карамзин.

- <sup>117</sup> См. коммент. 9.
- <sup>118</sup> Письмо буквально пронизано литературными аллюзиями: *Лара* – герой одноименной поэмы Байрона (здесь одесский знакомый Пушкина В. Ганский); *Атала* – героиня одноименной повести Шатобриана (здесь Е.А. Ганская). Самого Раевского Пушкин наделил именами героев романов Метьюрина и Ричардсона.
- <sup>119</sup> Письмо написано в связи с выходом поэмы «Братья-разбойники».
- <sup>120</sup> Прозвище «Walter» было дано Пушкиным Бестужеву за «рыцарскую повесть» в духе Вальтера Скотта «Замок Нейгаузен».
- <sup>121</sup> «Паризина» – поэма Байрона.
- <sup>122</sup> См. коммент 29.
- <sup>123</sup> Стихотворение «К морю». См. коммент. 27.
- <sup>124</sup> Имеется в виду вышедшая в Париже книга Т. Медвина. См. коммент. 95.
- <sup>125</sup> Роман С. Ричардсона «Кларисса Гарлоу». См. коммент. 52.
- <sup>126</sup> Статья Вяземского «Нью-Стидское аббатство» была напечатана в № 20 «Московского Телеграфа» за 1825 г. Свое ощущение от прочитанной статьи Пушкин высказал Вяземскому в письме, датированном второй половиной ноября 1825 г.
- <sup>127</sup> О «Беседах» Байрона см. коммент. 95 и 124.
- <sup>128</sup> См. коммент. 72.
- <sup>129</sup> В письме к Пушкину от 10 марта 1825 г. Рылеев писал: «Мнения Байрона, тобою приведенные, несправедливы. Поэт, описавший колоду карт лучше, нежели другой деревья, не всегда выше своего соперника». Речь шла о полемике, вызванной статьей В. Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (альманах «Мнемозина», 1824–1825) и неслучайно соединившейся для Пушкина и его друзей с противостоянием среди поэтов английских, связанным с резкими нападками на А. Попа со стороны У. Боулза и столь же резкой отповедью, которую дал последнему Байрон. Судя по письму Рылеева и приведенной в нем цитате, Пушкин был знаком с письмом Байрона его издателю Дж. Мэррею, напечатанном в 1821 г. Резкость и непримиримость обоих оказались для Пушкина равно неприемлемыми – отсюда его слова: «И Bowles и Вугон в своем споре заврались».
- <sup>130</sup> См. текст предисловия к Первой главе «Евгения Онегина» (1825 г.), а также текст, не вошедший в печатную редакцию.
- <sup>131</sup> Юлия – первая жертва тринадцатилетнего Дон Жуана (первая песня байроновской поэмы). Примечательна пушкинская «оговорка»: говоря о Первой главе «Евгения Онегина», он называет ее «1-ая песнь».
- <sup>132</sup> Годовщина смерти Байрона.
- <sup>133</sup> Пушкину к этому моменту были известны только первые пять песен «Дон Жуана» Байрона – те, что были представлены во французском переводе Амедея Пишо, по которому происходило первое знакомство Пушкина с поэзией Байрона.
- <sup>134</sup> Иван Иванович Козлов (1779–1840). Примечателен тем, что в 1824 г. отправил Байрону в Англию собственный перевод фрагмента из только что вышедшей в свет поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (опубликован в 1830 г. в лондонском журнале «New Monthly Magazine» писателем и путешественником, в 1827–1828 гг. побывавшим в России, Фредериком Чембером). Перевод Козлова оказался первым переводом поэзии Пушкина на английский язык. В письме речь идет о его поэме «Чернец» и стихотворении («послании») «К другу В.А. Жуковскому»: На его подарок Пушкин ответил стихотворением «Козлову» («Певец! когда перед тобой»...).
- <sup>135</sup> В написанной Ламартином «Последней песне путешествия Чайльд-Гарольда» Пушкин, не принимавший его поэзии, проницательно предугадал вторичность и подражательность (как позже написал Вяземский, она обозначила «совершенно недостаток в нем [Ламартине] драматической силы, без коей нет живого создания»). См. в этой связи письмо к Вяземскому от 24–25 июня 1824 г.

- 136 Эти мысли Пушкин разовьет впоследствии в статье «Путешествие из Москвы в Петербург» (1834).
- 137 Письмо написано в связи со статьей А.А. Бестужева «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начала 1825 годов» (альманах «Полярная звезда на 1825 год»). Впоследствии высказанные в нем суждения Пушкин повторит в черновых набросках «Возражение на статью А. Бестужева...», «О поэзии классической и романтической» и др. «Турнир» – повесть А.А. Бестужева «Ревельский турнир». Владимир – главный герой его повести «Измена».
- 138 Трагедия «Борис Годунов» была окончена 7 ноября 1825 г. Высказанные в этом письме суждения Пушкин впоследствии отчасти повторяет в «Набросках предисловия к “Борису Годунову”».
- 139 Дж. Лоредано – герой драмы Байрона «Двое Фоскари» («он заплатил» – его реплика). По иронии судьбы, с постановки именно этой пьесы (1845 г., под названием «Правитель и орел») началась сценическая история Байрона в России.
- 140 См. коммент. 126.
- 141 Речь идет об опубликованной в «Сыне отечества» заметке: «Г. Томас Мур сообщил рукопись, содержащую в себе жизнеописание лорда Байрона, сестре его, которая нашла в оной многие места, оскорбительные для лиц, находящихся еще в живых. Г. Мур предал потом сию рукопись огню, возвратив книгопродавцу две тысячи гиней (около 60 тысяч рублей), полученных было за позволение напечатать сию рукопись». Среди русских литераторов поступок Мура породил долгие (и далеко от конкретного случая отстоящие) споры. Позиция Пушкина выражена в этом письме с предельной ясностью.
- 142 Можно предположить, что столь возвышенно-романтический образ Генриха V, как в некотором смысле воплощения идеи об «идеальном правителе», сложился у Пушкина не без влияния шекспировских хроник.
- 143 Комедия Кюхельбекера «Шекспировы духи», имевшая подзаголовок «Драматическая шутка».
- 144 Б.М. Федоров – автор романа «Князь Курбский».
- 145 А.П. Керн по просьбе Пушкина, прислала ему сочинения Байрона. *Гюльнара и Лейла* – героини трагедий Байрона «Корсар» и «Гяур».
- 146 Мечта об издании собственного журнала «в роде Edinburgh Review», осуществилась для Пушкина лишь в 1836 г. («Современник»).
- 147 Калибан (персонаж «Бури» Шекспира) – дружеское прозвище Соболевского.
- 148 Очень характерное письмо: прозвища, почерпнутые из романа Ричардсона «Кларисса Гарлоу» (сам Алексей Вульф – Ловлас; дочь тверского священника Е.Е. Смирнова («поповна») – Кларисса). Сестра Алексея, Анна Николаевна Вульф (1799–1847), старшая дочь П.А. Осиповой от первого брака, была страстной почитательницей поэзии Т. Мура. Сохранился ее рукописный альбом, на листах которого записаны многие стихи Мура, как по-английски, так и в переводе.
- 149 Данное письмо – одно из свидетельств того, что в 1830-е гг. Пушкин внимательно следил за происходившими в Англии событиями (хотя слово «бунт» в отношении них и было явным преувеличением). Ср.: строфа из стихотворения 1830 г. «К вельможе» («Но Лондон звал твое внимание...»); также – первая редакция «Разговора с англичанином» в статье 1834 г. «Путешествие из Москвы в Петербург».
- 150 Об «англомане» Н.И. Кривошеина см. коммент. 5.
- 151 «Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах» – цитата из повести Шатобриана «Рене», излюбленная Пушкиным в 1830–1831 гг., в период сватовства и женитьбы.
- 152 Примечательно в этом письме английское словечко «spleen» – «... короче: русская хандра» – очевидно, абсолютно для Пушкина емкое и вполне определяющее его душевное состояние в преддверии перемен.
- 153 Пушкин имеет в виду вышедший в 1831 г. двухтомник «Баллады и повести В.А. Жуковского», куда, в частности, вошли переводы из Саути («Суд Божий над епископом», «Доника» и «Королева Урака»), а также баллада «Покаяние» – вольный перевод балла-

- ды В. Скотта «The Grey Brother» («Пилигрим»).
- 154 Знаменитые слова шекспировского Ричарда III были вынесены Вяземским в качестве эпиграфа к его стихотворению «Прогулка в степи», посвященном С.Н. Карамзиной и незадолго перед тем напечатанном в «Литературной газете» (1831, № 2).
- 155 «Пир во время чумы» был впервые опубликован в альманахе «Альциона на 1832 год».
- 156 Речь идет о трагедии «Венецианский купец», переведенной адъюнктом русской словесности Харьковского университета В.А. Якимовым (1802–1853). Пушкин был приглашен в дом князя Одоевского на авторское чтение.
- 157 Роман В. Скотта «Антикварий» (парижское издание 1827 г. на английском языке) был в библиотеке Пушкина.
- 158 «История Пугачева».
- 159 Н.А. Полевой (1796–1846). Пушкин имеет в данном случае в виду его роман «Клятва при гробе Господнем».
- 160 Одно из многочисленных писем с просьбой о разрешении издавать журнал, где в очередной раз сказался интерес Пушкина к «английским Reviews». Разрешение было получено лишь в начале 1836 г. Первый том журнала «Современник» вышел в свет 11 апреля 1836 г.
- 161 В 1836 г. вышли четыре тома «Современника». Первый том 1837 г., подготовленный Пушкиным, вышел в свет уже после его гибели.
- 162 «Таргум» – сборник переводов, включавший и стихи Пушкина (см. коммент. 82) – был передан Пушкину другом Борро датчанином Джоном Гасфельдом уже после того, как сам Борро покинул Петербург. В своем письме к Борро Гасфельд подробно описал, как это происходило: «Вскоре после того, как я узнал, что Пушкин находится в городе, я навестил его и преподнес ему вашу книгу. Он принял ее с очевидным удовлетворением. Он очень сожалел, что не познакомился с вами, пока вы были здесь. Он спросил меня, переписываюсь ли я с вами, и, получив утвердительный ответ, просил выразить вам свою благодарность. Воспользовавшись удобным случаем, я мгновенно вытащил из своего кармана этот лист бумаги и просил его написать несколько слов, которые вы найдете ниже вместе с их хорошей копией не столь поэтической каллиграфии; в противном случае вам пришлось бы их долго изучать, прежде чем вы смогли бы расшифровать его каракули (scrows' tracks)».
- 163 Черновик этого письма воспроизводится по Полному собранию сочинений А.С. Пушкина (т. 16, с. 267). Это и следующее письмо адресованы детской писательнице Александре Осиповне Ишимовой (1806–1881), чья книга «История России в рассказах для детей» (первый том вышел в конце декабря 1836 г.) очень понравилась Пушкину. Его отзыв о ней – в следующем письме.
- 164 П.А. Плетнев (1792–1865).
- 165 Речь идет об антологии: *Poetical works of Milman, Bowles, Wilson and Barry Cornwall. Complete in one volume. Paris: Galignani, 1829.* Пушкин отметил в ней для перевода драматические сцены Барри Корнуолла «Лудовик Сфорца», «Любовь, излеченная снисхождением», «Средство побеждать», «Амалия Уентворт», «Сокол» (фрагмент последнего «О бедность! затвердил я наконец...» он перевел в 1835 г. сам). Переводы А.О. Ишимовой появились в 4 номере «Современника» за 1837 г. Письмо это, написанное Пушкиным в день дуэли, – последнее в его жизни.

## Содержание

|   |    |
|---|----|
| Кольна (Подражание Оссиану)   | 3  |
| Осгар   | 6  |
| К сестре .  | 8  |
| Принцу Оранскому .  | 9  |
| «Когда сожмешь ты снова руку...»  | 10 |
| [Записка к Жуковскому] .  | 10 |
| «Погасло дневное светило...» .  | 10 |
| [Из Байрона] («Нет ветра – синяя волна...»)   | 11 |
| Гречанке  | 11 |
| Послание цензору  | 12 |
| Иностранке .  | 12 |
| Евгений Онегин  | 13 |
| «Полу-милорд, полу-купец...» .  | 26 |
| Разговор книгопродавца с поэтом .   | 26 |
| К морю .  | 30 |
| «Как узник, Байроном воспетый...» . . .   | 32 |
| [Воображаемый разговор с Александром I].  | 32 |
| Дневник 1824 г. . . . .   | 33 |
| Ода его сият. гр. Дм. Ив. Хвостову  | 33 |
| Андрей Шенье  | 35 |
| К *** («Я помню чудное мгновенье...»).  | 35 |
| Граф Нулин .  | 36 |
| [Возражение на статью А. Бестужева «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начала 1825 годов»]. | 44 |
| О поэзии классической и романтической.  | 44 |
| [О народности в литературе].  | 45 |
| К Баратынскому  | 45 |
| Послание Дельвигу .   | 45 |
| [О драмах Байрона]  | 46 |
| Отрывки из писем, мысли и замечания   | 46 |
| Материалы к «Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям»  | 47 |
| «Кто знает край, где небо блещет...» .  | 48 |
| To Dawe, Esqr. («Зачем твой дивный карандаш...»)  | 48 |
| «Ворон к ворону летит...»   | 49 |
| Анчар   | 49 |
| Полтава . . . . .   | 50 |
| [О трагедии Олина «Корсер»] . . . . .   | 51 |
| [Письмо к издателю «Московского Вестника»]  | 52 |
| [Возражение на статью «Атеня»].   | 53 |
| [О поэтическом слоге]   | 53 |
| [«Бал» Баратынского]  | 54 |
| Калмычке . . . . .  | 55 |
| «Все тихо – на Кавказ идет ночная мгла...».   | 55 |
| Мёдок (Мёдок в Уаллах) . . . . .  | 56 |
| «Еще одной высокой, важной песни...» . . . . .  | 56 |
| [О переводе романа Б. Констана «Адольф»]  | 57 |

|   |     |
|---|-----|
| [О «Ромео и Джульете» Шекспира]                             | 58  |
| [Роман в письмах]   | 58  |
| Сонет («Суровый Дант не презирал сонета...»)                | 61  |
| К вельможе  | 61  |
| Поэту («Поэт! не дорожи любовью народной...»)               | 63  |
| «Я здесь, Инезилья...»                                      | 64  |
| Из Вагу Согпwall («Пью за здравие Мери...»)                 | 65  |
| Скупой рыцарь   | 65  |
| Пир во время чумы   | 80  |
| Гробовщик   | 87  |
| Барышня-крестьянка  | 87  |
| Юрий Мирославский, или русские в 1612 году                  | 97  |
| [О записках Самсона]  | 98  |
| [«Англия есть отечество карикатуры и пародии...»]           | 98  |
| [Наброски предисловия к «Борису Годунову»]                  | 99  |
| [Опровержение на критики]                                   | 100 |
| [Об Альфреде Мюссе]   | 102 |
| [О народной драме и драме «Марфа Посадница»]                | 102 |
| [Заметка о «Графе Нулине»]                                  | 104 |
| [Заметки и афоризмы разных годов]                           | 104 |
| [О романах Вальтера Скотта]                                 | 105 |
| «Когда Макферсон издал «Стихотворения Оссиана»...»          | 105 |
| [Роман на Кавказских водах]                                 | 106 |
| Обозрение обозрений   | 107 |
| Воспоминания  | 108 |
| Езерский  | 108 |
| Мера за меру  | 109 |
| Анджело   | 110 |
| Дневники 1833–1835 гг.                                      | 127 |
| Путешествие из Москвы в Петербург                           | 128 |
| О ничтожестве литературы русской                            | 132 |
| Русский Пелам   | 133 |
| Папесса Иоанна  | 135 |
| Полководец  | 137 |
| «На Испанию родную...»                                      | 138 |
| Странник  | 141 |
| «О бедность! затвердил я наконец...»                        | 143 |
| «То было вскоре после боя...»                               | 143 |
| «Как редко плату получает...»                               | 143 |
| «За все заботы и досады...»                                 | 143 |
| Спены из рыцарских времен                                   | 143 |
| Египетские ночи   | 144 |
| [Байрон]  | 147 |
| Table-talk  | 151 |
| Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года              | 153 |
| (Из Пиндемонти)   | 155 |
| Кн. Козловскому   | 155 |
| Родрик  | 156 |
| Фракийские элегии. Стихотворения Виктора Тешлякова, 1836... | 157 |
| Путешествие В.Л.П.  | 158 |
| [О Милтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая»]      | 159 |
| Шотландская пословица                                       | 165 |
| Письма  | 166 |
| Комментарии   | 186 |



# **Пушкин. Англия и Ирландия**

Компьютерная верстка *И. Шильштейна*

Подписано в печать 18.11.99 г. Тираж 300 экз.

Издательство «Рудомино»  
109189, Москва, Николаямская ул., д. 1  
Лицензия № 070082 от 10.XI.96 г.

Нет, положительно скажу,  
не было поэта с такою всемирною отзывчивостью,  
как Пушкин,  
и не в одной только отзывчивости тут дело,  
а в изумляющей глубине ее,  
а в перевоплощении своего духа в дух  
чужих народов,  
перевоплощении почти совершенном,  
а потому и чудесном,  
потому что нигде, ни в каком поэте целого мира  
такого явления не повторилось.  
Это только у Пушкина,  
и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное  
и неслыханное, а по-нашему, и пророческое, ...

Ф.М. Достоевский  
(8 июня 1880 г.)